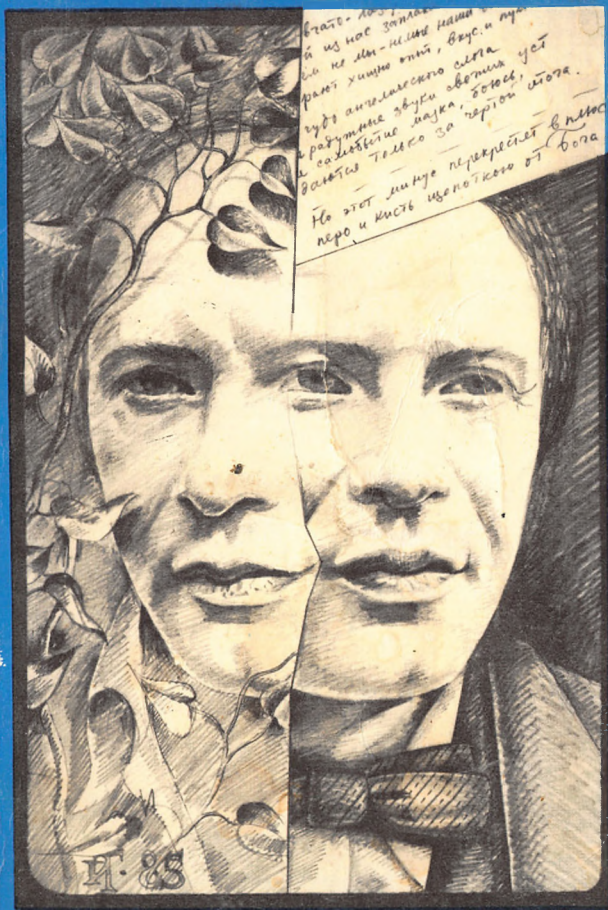


ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ



ПОЛНОТА ВСЕГО

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ

ПОЛНОТА ВСЕГО

Книга стихотворений и поэм

Издательско-коммерческая фирма
«ВОДОЛЕЙ»
г. Санкт-Петербург
1992

Г 81(03)

Дмитрий БОБЫШЕВ

Полнота всего — С.-Петербург, ИКФ «Водолей»,
1992 г. — 144 с.

Литературные представители в России
А. Ю. Арьев, Н. А. Якимчук

ISBN 5-87852-004-4

© Д. Бобышев, 1992 г.
ИКФ «Водолей», 1992 г.

I

В И Д Ы

Не декабрь, а канделябр-месяц:
светятся окурки в глуби лестниц,
светятся глаза иных прелестниц,
зрят из-под зазубренных ресниц;
светят свято купола Николы,
охлаждая жар, и окна школы
отбивают явно ямб тяжелый
и зеленый блеск наружных ламп.

На полметра высунулись ровно
в водостоках ледяные бревна,
нарисован город столь условно
сразу после оттепели, но
на часах выстуживает время
прапорщик-мороз. Ручное стремя
так само и прыгает в ладонь;
под колено бьет скамья, что вдоль
в ящике раскрашенном трамвая.
Едешь, на ходу околевая,
веруя: мол, вывезет кривая,
ежели не выдаст колея...

Белая, средь белых листьев, роза
в состоянии анабиоза
вдруг нарисовалась на стекле.
Это — мысль мороза о тепле.
Прапорщик-мороз, мороз-хорунжий
мира захотел при всем оружьи,
спирту ледяного, стопку стужи

он людскому вдоху предложил.
Вот и спотыкается прохожий,
и, на душу голую похоже, —
облако дыханья возле рта
держит он за край, замкнув уста.

Но заиндевел мороз-полковник
и один из видов законных,
словно бы окладом на иконах,
обложил на пляшущих стенах.
Там дома, собор собой закрывши,
и кресты, сияющие выше,
образуют кладбище на крыше,
золотое кладбище в душе.

Столько золотых надежд на чудо
и воспоминаний в нас — о т т у д а, —
все должно вернуться из-под спуда,
только не вернется никогда.

Да, но уверяющим залогом
на бегу тяжелом и убогом
вижу я в продышанной дыре,
как с фасадов маски шлют гримасы,
львы встают, и шевелятся вазы,
головокружительные трассы
ангелы выводят в декабре.

1969

Евгению Рейну

Крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов, сидящих
в такой же точно позе на другом
конце моста и на него глядящих
такими же глазами.

Львиный пост.

Любой из них другого, а не мост
удерживает третью существа,
а на две трети сам уже собрался,
и, может быть, сейчас у края рва
он это отживающее братство
покинет.

Но попарно изо рта
железо напряженного прута
у каждого из них в цепную нить
настолько натянуло звенья,
что, кажется, уже не расцепить
скрепившиеся память и забвенье,
порыв и неподвижность, верх и низ,
не разорвав чугунный организм
противоборцев.

Только нежный сор
по воздуху несет какой-то вздор.

И эта подворотенная муть,
не в силах замутить оригинала,
желая за поверхность занырнуть,
подергивает зеркало канала
нечистым отражением.

Над рвом
крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов напротив:
в их неподвижно гневном развороте,
крылатость ненавидя и любя,
он видит повторенного себя.

Март—апрель 1964

ГОЛУБКА

Шелестит, и нежна, и строга,
гулит, губит поклонника... Право,
промолчать, и вся недолга...
Но слепая велела канава!

И откосы, их явный позор,
ломовые их автомобили,
полуслужбы моей полный вздор —
в чем могли, кое-чем пособили.

Правда, мост не смог отразиться тогда —
осрамил его сорный ветер...
Выражение как бы стыда
у ландшафта в тот миг я заметил.

Словно замысла первопейзаж,
в нем перевранный до окаянства,
увидав, увидало себя ж
так, во всем затрапезе, пространство,

Но выкатила вдруг гром
гроза на кровельном ложе,
с перевернутым кораблем,
не скажу, что с голубкою, схожа.

Дождь, рваную снасть, —
струи, ванты — по крышам, по шпилям
протасив, в душу прошлась
и несоразмерным усилием

приложились... Но матрос от небес,
ветром стянутый в горло залива, —
мнилось, — ты, что забился в подъезд,
не успев до звонка с перерыва.

Прошла... И сколь унижен репей,
а и тот в ста коленях сиротства
не за полы теперь,
но к проезжему чуду приросся:

— Отреклась...

Но велела — не меньше, как бездной
мерять нищую страсть
к ней же, гибельной, к ней же, небесной,

К ней, голубке ужасной, и я
до конца привязался... Но что там? —
Метров за восемь била струя,
фонтанируя вниз, к нечистотам.

Городская урыльня, урок
так усвоен тобой голубиный,
что и тот же восторг
льешь позорной лавиной.

И любителей, вижу я, — тьма!
И уж клювы, и крики, и крылья
на такие корма
налетели, и — пир изобилья

чайкам, вижу, а харч их протух...
Но жируют, я зрю, альбатросы,
и, увы, буревестников двух,
отбиравших у крячек отбросы,

вижу я. Научи меня, речь,
быть и противобыть. И к защите ль
у тебя от тебя же прибечь?
Пожалей, вот пейзаж — мой мучитель.

Ноябрь 1968

ПОПЫТКА ТИШИНЫ

Вы-ырвало мальчика в метро,
бедному брыжейки развязало,
вывернулось томное нутро
прямо под концертной залой,

где к р а с и в ы й Шопен,
как король голубиный,
«гули-гули» со стен
в залу сыплет лавиной,

и н е б е с н ы й Моцарт
льет, у струн занимая
серебро лунных царств,
а толпа — как Даная,

где из скромных убранств
нас пленяет без лести
с к у ш н ы й ведатель Брамс
гармонических следствий,

и, как лунный резец,
некий ангельский профиль
на тетраджах сердец
н а ш рисует Прокофьев.

Как музыка пришла к нам на болото,
про это знает Петр,
был в государстве слишком воздух сперт,
звучала в нем желудочная нота...
Понадобились две-три вертикали
тогда на сквозняке сыром.
То ангелом бия, то кораблем,
их в землю утыкали.
И что ж? Случайным инструментом
архитектуры золотой
струна была задета в лире той, —
в решетке, разумею, чугуно-медной.
И вазы ручками на ней махали,
и с хором записных певиц
сладчайше делал знаменитый Фриц
во фразе восемь придыханий.

О, Господи, как пел он «Свете тихий»!
Все б дал, чтоб Фрица услышать.
Замолкни ямб, умри навек, пиррихий, —
раскрою тишь, как белую тетрадь.

Тихо-тихо пишет снег,
пишет жизни, пишет души
по забвенью их навек,
и вычеркивает тут же.

И на сером фоне стен
вновь записывая, мучит
симфонических систем —
по безмолвию — беззвучьем.

Стилизован под ампир,
тихо рушимый, прекрасен
этот белый бедный мир
в кривизне своих балясин.

Белым крапом снял он цвет,
выпил, высосал объемы,
в точку, в нуль списал, на нет —
линии, узлы, изломы.

Чертит снег, летит мелок —
в стиле нежного кубизма
он рисует эпилог
мирового катаклизма.

Тихо пишет тишиной,
оглушая мяще мнимых
той единственной ценой
истин непроизносимых...

...Вышел мальчик из земли
бледный изжелта, но тот же,
видит — снегом замели
ветры вечер этот тошный.

Постояв у Дома книг,
вяло думал он: сегодня
проморгал я страшный миг,
дивный миг Суда Господня.

1969

До чего же она неказистая,
дверь в котельню и та же стена,
но так жарко, так, Господи, истово
и сиротски так освещена,
да и в куче кирпич, так он лыбится,
что свести свои годы вот здесь,
даже в эту оплывшую глыбцу
я бы счастлив...

Но тут кто-то есть!

За трубою и топочным боровом,
перекрещен растяжками труб,
головой об забор особорован,
кто здесь есть-то?.. Как стелят тулуп,
не тулуп он, саму неминуемую
постелив, хоть какую нивесть
самодельную или по случаю,
но свою же, свою... кто-то есть?

И откуда ж — оттуда, не иначе,
так и светит, и видно везде
до гвоздя в горбыле, до крупиночки,
до чешуйки на ржавом гвозде.

Или сам же себя до ничтожества
довел, да и вот он я весь,
или замысел мой уничтожился,
искажаясь до нельзя, но здесь —
никого.

Только перышко медленно
до шестого, поди, этажа
подхватилось, и там, незаметное,
все кружит, как живая душа.

1968

Тебя, тоскуя о твоей пропаже,
наставница ребячая, ничья,
не нахожу в промышленном пейзаже, —
и заживо мертвеет жизнь моя.

На фоне виадука и сарая
идешь ты, силой нежною дыша,
и тут я поражаюсь: вот какая,
оказывается, моя душа!

Ты на глазах творишь себя, как чудо,
и сходятся мгновенные черты
с чертами абсолютными — о т т у д а.
Я — за тобою. Но зачем здесь ты?

Чтоб укорить несовершенство края,
одною только зримостью греша?
Чтоб нагляделся я: вот ты какая,
оказывается, моя душа!

Бывают в этой сплошности прорывы
туда, где свет, — отсюда, где склады...
В мистическом едином теле живы
мы были бы. Но врозь ведут следы,

тебя от перекрестья отвлекая.
А мне бы все глядеть, как хороша,
и все не наглядеться мне, какая
моя и не моя уже душа.

Сент. — окт. 1972

Это ли не город-ключ
Первозванного Петра?
Ангела пята с утра
опирается о луч...

Вызолотя высь иглой,
здесь воцерковляет шпиц
государственных гробниц
тяжко ограненный строй.

Это ли не побратим
твой, что над Невой навис,
мысля головою вниз,
горний Иерусалим?

Разум, что линейно-крив,
здесь его взял. И что ж?
Видно, распрямил чертеж
духа золотой извив.

Это ли не в твой указ,
Спасе золотой, пальбой
половинным день любой,
звонко четвертуем час?

Слышите? Курант! Курант!
Циркулем для умных мук
человек распят на круг,
вписан в звездяной квадрат

кронверка. И — равно — над
храмом и тюрьмой (у нас,
вольно-крепостных — все враз!)
слезно преломился взгляд...

Шпиль! И — двунебесна цель:
то ли восклицает знак
царское: «Да будет так!»,
ангельский ли возглас: «Эль!»?

Господи! Какой провал
дико перевернут вверх,
чтобы и на третий век
граней пересверк сиял.

Видно, что молеельщик есть
крепкий на святом посту:
воин ледяной в скиту
тихо сотворяет крест.

Ангел да корабль горят
в скважинах небесных круч...
Это ли не город-Ключ?
Только от каких оград?

1979

КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖСКАЯ

Юрию Иваску

1.

Ну, что с того, что пил?.. Зато как пел «Блаженства»!
Из плоти искресах конечны совершенства

и кроткия жены изрядно поучах...
Что стало из того, что сей Никто исчах?

А то и вышло, что из Ада мрачной сени
восхитила его любви блаженной Ксеньи.

Коль с мужем плоть одна у вдовья жены,
чем плохи мужнины кафтанец и штаны?

— Ах, светелко супруг, я — ты, я — ты, я телом —
лампадка масляна; тебя во мне затеплим.

— Ты это я, ты — я (и крестится скорей),
мой милый баринок, я нарекусь: Андрей.

И молится (язык да не прильпе к гортани):
— Благословивая брак в Галилейской Кане!

— Простри же, Чудная, на этот брак — Покров...
Полковник баба — я, я — певчая Петров!

2.

И, нищелюбая, бредет она, — раздавши,
да что имение?, саму себя и даже

горазнее того... — с просвиркой поутру,
и хвалит Господа за — в башмаке дыру.

Морозец искрится; свет позлащает резко
снег между кирпичей, меж бочек свинорецкой

и сяжской извести, меж хохотов и крикс...
Толпа и гвардия. «Виват, императрикс!»

И ангелы плетут золотые канители.
— Ах, не спутните их. Ах, вот и улетели!

Ухватки ихние лишь Ксении видны:
— Что, люди русские? Пеките-ка блины!

— Дак ведь не масляница. Да окстись ты, Ксения!
А тут Елисавет почила к Воскресенью...

За Ксенины блины, что знала наперед,
скорей, чем за любовь, любил ее народ
с поминок царских и —

3.

...И вдруг прошло два века.
Стоит на кладбище Смоленском склеп-калека,
на «ладанки на грудь» растащен, а — стоит.
Не склеп — часовня. Нет, и не часовня — скит,
поскольку Божия не сякнет здесь работа!
«Святая Ксения, избави от аборта», —
наскрябана мольба. И дата — наши дни.
«Сдать на механика позволь.» «Оборони —»
Здесь — привенник в щели. А там — пятиалтынный.
«— от зла завистников...» «Дай преуспеть в латыни.»
И — даты стертые. «Споспешествуй в пути...»
И — «Отведи навет...» И — «Виноват, прости!»
И — «Благодарствую.» И — «Слава в вышних Богу.»
Христорожденную, хлопочущу о многу,
о теплой мелочи и о слезе людской,
ее бы помянуть саму за упокой,
горяще-таящую истово и яро...
Я помолился лишь «о нелишеньи дара».

Август 1980

II

ВОЗМОЖНОСТИ

Всей безобразной, грубою листвою,
среди остальных кустарников изгнанник,
лишенный и ровесников, и нянек,
всерьез никем не принятый, ольшаник
якшается с картофельной ботвой.

При этом каждый лист изнанкой ржавой
уж не стыдится сходства с той канавой,
в которой грязнет, глохнет каждый ствол.

И гасится матерчатой листвою
звук топора, которым огородник
старательно пропалывает свой
участок от культур неблагородных,
остерегая весь окружный лес
селиться на его делянках, здесь.

И валится ольха. Но не на отдых,
а сорняком и плевлом от деревьев.

Из этих веток, в стройке непригодных,
хозяин настиляет пол на сходнях,
чтоб выбирал он грязь из низких мест.

И к небесам вызывает красный срез.

А новые растут из торфа, глины,
и у провисших в озеро небес
нет дерева прекраснее ольшины,
когда она свой век до половины
догонит, не изведав топора:

и лист по счету, и узор вершины,
и чернь ствола, и черные морщины,
и в кружевных лишайниках кора,
протертая на швах до серебра, —

приметы так отточенно-старинны,
что дерево красавицей низины,
казалось бы, назвать давно пора,
и впереди ветвистого семейства
она по праву заняла бы место;

в ней все — и шишек прихотливый строй,
тушь веток и законченность их жеста,
и поза над озерной полосой,
и стать, посеребренная росой —
все поражает позднюю красой.

Но есть в ней отчужденность совершенства.

13—14 сент. 1965

В НЕБЕСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Может, и тепло несет Гольфстрим,
только едет холод вместе с ним.
Полуфабрикаты облаков
он привез, спрузил и был таков.
А Варварин розовый погост
заготовки туч хватает в горсть
крестопалой кистью — и всеядным
в зев сует зеркальным водам Яндом
озера. Вечерняя заря
зря не светит, тучи краской метит,
в озере их месит и густит,
небу для фундамента мостит.
Скит небесный!
Запад — выход в бездны,
с миру красный выезд через грудь
на тропу с белеющей булыгой
к пристани ночной Губы Великой,
с перекрестка и на Млечный Путь.

1966

НИЗКОЕ МЕСТО

Не пройти б тебе через болото,
если б не случилась эта гать —
чья-то полусгнившая работа,
плотника дорожного, кого-то,
кто под треугольником кивота
сам уже истлел, но вот смотри-ка —
помогает путнику шагать.

А, видать, старался горемыка —
плотно мастерилась эта гать,
чтобы за неделю смог калика
до часовни, что была — владыка,
а теперь — с травой равновелика,
пред глаза давно слепого лика
и домой за праздник дошагать.

А переберешься через гать
и дойдешь до местности лесистой
мимо развалюхи неказистой
до постройки истовой и чистой —
около нее подольше выстой
перед тем, как дальше зашагать, —
и тогда в компании артельной
помяни молитвой самодельной
в волости безлюдной, многоельной
эту приготившуюся гать.

Март 1967

ТРОИЦА

В. Преснякову

В мягкой серебряной соли — коричневый снимок,
миг распластался на снимке, приплюснут и тонок,
и непонятно, кто тонет во времени — инок,
или турист, или, может быть, есылный подонок.

Только, куда б ни несло его праздное время,
где б ни щемил узкой щелкой затвор аппарата —
в мягком архангельском прахе иль в стихотворенье —
всюду страхуют с боков его разом два брата.

Вместе и тонут — в словах, в проявителе, или
тонут во времени — трое с простецкой артели
в кадре по пояс, и в прошлом по горло, и всплыли
над головой — колокольни, дома, колыбели...

1967

КОГДА ИДЕТ ГРОЗА

В. Шаповалову

Когда идет проза над хлебным полем,
кладется крест движением невольным, —
слоновая гримаса в небесах
на этот грех всех тех, в безбожьи слабых,
трясущихся на грозových ухабах,
толкает под руку. И переходит страх
в крах подлинный. Слетает с душ мякина
и пух. И тянет пылью из овина
и чепухой успехов и утех.
Но смотрят из березовых прорех
спокойно
лемеха Петра и Павла...
Они себя от Симона и Савла
давно отшелушили, как орех.

1966

ВЕЧНАЯ ВЕСНА

Вянет листва,
и калитки могли бы расплющивать пули —
так замкнули
казенные хозяева
свою дрему с обеда на стуле...

Пыль по реке
из Черёповца тянется вместе с жарою.
Бороду брею —
смыть приходится мыльную кровь на щеке
той же водою...

Та же река
предо мной запирает бетонные шлюзы,
и сухогрузы
издалека,
и заборы поближе похоже сверяют бока...

Узко пока
заходить — широко выйдешь после в просторы!
Красные створы
путь укажут, где вечная будет весна.

Это Шексна
мертвый паводок так чудотворно разлила,
будто весна,
будто время, как в шлюзах, стотонная сила
остановила,
а сама — на подводные крылья, и — словно блесна...

Мчит Метеор,
а вокруг-то ни граю, ни птичьему гвалту,
по Волго-Балту,
вешний простор
по Волго-Балту который уж год, до сих пор,
по Волго-Балту.

Март 1968

ОТВРАТЯСЬ

От смолистой крепко гнутой прямоты,
груботесанной души и высоты
и со деревянные кресты
двадцати-дву-славно-главой крыши
тяжкой, перепруженной до прыжи
и на срубе выведенной, иже
есть среди погоста, кой есть Кижи, —
полтора-мерные кусты
иль полу-деревья — вострят лыжи
и — туськом по гребню — выше, выше,
к пахоте б щебенчатой поближе
да подальше бы от лепоты
тянутся.

В растительном миру
все они — расстриженные братья,
скрученные на сыром ветру.
Чтоб срамнее было — на юру
каждый — воротник рванул у платья.
Все-то вы — души самораспяты —
все мы — суковатые проклятыя —
мол, своей судьбы не смел понять я,
а чужая — нет, не по нутру.

Март 1967

В руках у сплавщика дела решает вага
еловая, — в стада катает лес,
и бревна в лесобойню тащит влага,
но гибель им под пилами — во благо,
и смерть еловая — еловый интерес.

А у воды вилявой нет подобной цели,
и в сгибах надобности загнила река:
там, задыхаясь, часто дышат мели,
тут мрут кряжи на илистой постели,
покуда не задохлись в топляка.

Их суть — огонь и сушь, они ж — как раз — утопли,
набрякли слизию, — трудно произнестъ —
коснеют их глухонемые вопли,
размазалась кора в коричневые пули,
молчанье — как мычанье — тоже весть.

В круговорот золы, гвоздей, опилок — нету лаза,
а значит: либо жизнь дается зря,
на выброс, либо эта ржа да тля,
да спекшихся намерений зараза
их разлагает для другого раза,
пока не даст природа другаля.

1968

УТРО ВЕЧЕРОМ

На закат оглянёшься — в глаза так и сыплется гнус,
ткет на коже волшебный узор комариный укус,
волчьих песен умеет зырянская лайка немало
и у фляги молочной их пробует тоже на вкус.

Но не хуже мошки, и крапива не так донимала,
как вечернего к северу тока струя у привала
и ночная пора, пропадавшая в струях; глядишь —
у костра леденеешь: восход воспаляется ало...

В лапу рубленый угол у дома и крепкая тишь
нерушимы для трактора будут, и разве что лишь
невзначай обстучит ветерок у фарватера в створе
череду вековую, вдвойне озаренную, крыш.

Видно, крепко схватились над ними две равные зори...
Здесь не время течет — тихо морщится что-то
в просторе,
и свобода по-русски — стократ повторенная даль.
Воля местная! С тем и выходишь на взгорье:
в столь румяную полночь пусть радостной станет
печаль!

1969

ЗАБЫВШЕМУ СВЕТА

Жилье впечатано во тьму,
как будто из окна наружу
дано светить ему
и сдабривать худую лужу.
Молчит, молчит,
а не скворчит она,
хоть отражение окна, —
как шкварка, путнику на вид.

Нет, свет в себя, вовнутрь глядит.
Он видит: выехал хозяин,
стол гол, дом пуст, повсюду убыль;
как аннулированный рубль
и как невыплаченный заем,
свет, бесполезностью терзаем,
оскалился.
Пылится перст,
грязнится риза чудотворца.
Першит от мусора и ворса
у ступы сыпкое жерло.
Оно в скрученный угол, в крест
себя случайно навело.

Впустую сорок ватт горят
в густую ночь, в пустое утро;
на воронце в порожний ряд
пустая выстроилась утварь.
Гниет венец, всему конец,
стропила угрожают хлеву,
на пашню наступает лес,
крапивой к небу
стрекает сорная земля...

Какому мраку на потребу
скормил ты свет, стравил свои поля!

1966—69

ЛЮБОЙ ПРЕДЛОГ (ВЕНЕРА В ЛУЖЕ)

Зрит ледяное болото явление светлой богини...
Пенорожденная — вниз головою с небес
в жижу торфяно-лилейную под сапоги мне
кинулась, гривной серебряной, наперерез.

Бедная! Белая — в рытвине грязной она отразилась...
Видно, и в самой ледащей из наших дорог —
лишь бы вела! — с ней замешена общая милость
низкому озеру Вялю и острову Милос,
и пригодится для чуда любой завалищий предлог.

Вот и гляди в оба глаза на мокрые плоские глади:
чахлые сосны, коряга застряла как хряк,
да лесопилка сырая все чиркает сзади;
в кучу слежались опилки, и будка на складе
в серых подтеках глядит — отвернись от меня,
Бога ради!
Это ведь родина. Что же ты плачешь, дурак!

Ноябрь 1967

Как топор без топорища
медленно по звездам рыща,
выйдет месяц на ущерб
над гниющей деревней.
В тишине, без ударений
он навалит нежных щеп.

Без усилия, дремотно
даст он видимость ремонта, —
полуночный доброхот, —
стешет преющую слегу,
вставит, вынув из высот,
в безобразную телегу
шкворень лунного стекла.

Боже! Сколько в мире зла,
залитого свежей ложью,
где бездействуют дела,
и откуда жизнь ушла
в города по бездорожью.

1967

СТРОКИ

Свежий голос ручья из распадка,
быстрый высвист из птичьей груди, —
и сложилось мгновенно и шатко:
— Если любишь меня — подойди!

Но, — случайно ли? — Фраза лесная
попадает в само существо:
только так и любить бы — не зная,
Боже, толком-то даже — к о г о?..

И в беспамятстве или в бесцельи
через мох, через нежную грязь
вот сочится ж из глиняной щели
струйка жалкая, книзу виясь.

Чей-то прах отзывается, что ли,
на котором замешен и я,
только нет здесь ни счастья, ни воли, —
лишь волненье любовное в горле
да прозрачные вскрики ручья.

Сентябрь 1969

III

СОНЕТ

Словесность — родина и ваша, и моя.
И в ней заключено достаточно простора,
чтобы открыть в себе все бездны бытия,
все вывихи в судьбе народа-христофора.

Поток вокруг ног бренчал залиvistо и споро,
и приняла в себя днепровская струя
перуна древний всплеск с плеч богобора
и плач младенчика, и высвист соловья.

Народу своему какой я судия,
но и народ пускай туда не застит взора,
где радужный журавль, где райские края,
где песнь его летит до вечного жилья...

А впрочем, мало ли какого вздора
понапророчила нам речь-ворожея!

Сентябрь 1971

СЛОВА

Был извилисто-телесным,
задышал и стал словесным
пульсом пущенный мотив,
устье кверху обратив.

И по розовым излукам
полусмыслом, полузвуком
тайно вспыхивает грань,
и блаженствует гортань.

И в самом произнесении,
из словесной тесной зерни
порождается на миг
жизни маленький двойник,

чуда крохотный источник,
беглый смысл, минутный очерк
человеческих потреб
и божественный портрет.

Целомудрием покрова
немота объемлет Слово,
но обмолвки тишины
в языке разглашены.

С ним согласны равно оба —
небо звездное и нёбо.
Ну какой же это враг:
и солгал бы, да никак!

Только звуки у Глагола,
непомерного для горла,
пострадавшего за ны, —
страшны, влажны, солоны...

1973

Строка — совсем дитя. А кто отец-то?
Ведь я расчеловечусь, я впоюсь
в смертельное братанье с ней, в союз,
и стану вовсе человеко-текстом.

С полусобойю сросток, легкий груз —
пока меня имеючи — примите!
Так из каких же уст я отзовусь,
когда Создатель позовет: «Димитрий!»?

Что́ это было — нравственный недуг,
всего лишь любопытство или шалость,
но с розовым дыханием подруг
душа за целый век перемешалась,

и — нет меня. И — здесь я! Лишний слог
в крестообмене человеко-строк.

Октябрь 1977

ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА

Река времен в своем стремлении...
Державин

...И долговечней царственное слово.
Ахматова

Уносит все река времен...
А что и остается,
тому конец определен;
и вечностью пожрется.

Но длительнее всех примет
для шествия земного,
по-видимому, все же — нет,
не царственное слово.

Но — жалкое, но — в свой же мрак
до Божьего огарка
так пролепеченное, так
прорыданное жарко,

что часть предвечную, алмаз,
светящуюся точку,
на время вложенную в нас,
течением лет — проточит.

И та взойдет по крутизне,
прорезанная блицем,
как бы на рисовом зерне
писцом бронзоволицым.

Сольется крохотный карат
с пылающею бездной...
...Так не корить же, не карать, —
спасти Отец небесный

сораспинаемого смог
за миг перед кончиной!
А жизнь... Что наша жизнь? — Предлог?
— Для песни лебединой!..

1974

ЧТО-ТО ЛЕПЕЧЕТ

Что-то лепечет листва верховая —
это ночной Велимир, колоброд,
так выдыхает свои волхвованья...
Так, что изнанкой навыворот — рот!

Чуешь, и чувству такому не веришь,
но по вершинам идет налегке
наш коренной председатель и дервиш.
Только стихи шевелятся в мешке.

В них разливаются чудью озерной
мера да кривичи с весью лесной.
То неразвернут язык, то разорван —
странно опасный, чудной, озорной.

Вместе — не каждым листком или словом —
общей листвою древлян и деревьев,
ясенной вязью и маслом еловым
скулы черемит, шалит, куролес.

Как из ручейного бучила — вычур,
свирь саранчевую, птицын чирик —
прямо живьем, целиком закавычил
прашура — в свой белой черновик.

Но не дремуч — лишь юродив и странен;
так и велит повернуть и не ждать
бывший на нашей земле будетлянин:
— В путь — сквозь былое — за будущим — вспять!

А упредят грановитые зерна
в нужную смерть — через прошлое — зов! —
что ж! И предтече отстать не зазорно
от воскрешателя мертвых отцов.

Общее дело листвы — облетанье...
Страшно сказать, но земля все родней;
все обитаемой в ней стала тайна:
труд сокровенных и сладких корней.

Январь 1977

СПРЯМЛЕННЫЕ ПУТИ

Поезд прибывает на вторую путь
Из громкоговорителя

1.

Еще проверите, я верно говорю.
Пусть город наш чугунную зарю
стыдится окунать в пластмассовые лужи!
Когда-нибудь, когда не будет хуже,
мы слово исцелим словесностью от стужи
и ту же путь не пустим к букварю.

2.

Любую грамоту читающий с листа
Набоков, он же Сирин, неспроста
сказал про нашу речь — подросток захолюстя.
Обидно, да, но есть у нас холуйство,
и кости в языке спрямляются до хруста
едва свобода освежит уста.

3.

Но я хочу ему напротив подчеркнуть,
что у письма есть храмовая суть,
и не в стилистико-медовых ароматах, —
скорей — в полумычаниях громадных,
где искажился честный лик грамматик,
и вся скривилась правильная путь.

4.

Хрусталик ока замутненный и хрусталь
родного говора врачует Даль.
В черновики времен! За ним — до Вавилона...
В семантику, до семенного лона
и далее, откуда стоном Время Оно
заносится в новейший календарь..

5.

И что же? Все путем! Не мальчики — мужи
впряглись уже в словарные гужи.
Распашем же, распишем лист **ЕДИНЫМ СЛОВОМ**.
Сперва — с заглавной, корень всем основам,
а после — с прописной, — и мир перебелован...
А наша речь отменна, не скажи!

Январь 1972

ПЕРО И КИСТЬ

Возьми щепоть от Бога, и тогда-то
в честном овале, в черепном яйце
напечатлеешь, осодишь лице,
и крест на нем проступит брусковато.

как бы ни миловиден был раскрой.
Но — чуть — и троеперстие разъято.
Меж двух — уже зияние (пиата):
отсыновлен от большего второй,

а среднему они опора оба.
Орудие художества, пароль
еще не выбрав: кисть или перо,
тому свершилась перьевая проба.

И чем иным бы выписалась кисть,
когда б не геральдически особо
(и только ли, как водится, до гроба?)
они перекрестились и сошлись!

Здесь дружная опружинила интрига,
и цветовой удар ввергает в криз:
по склону промуравленному вниз
упруго кувыркающийся тигр.

И пиршество среди густых куртин,
где неподвижно безуханны игры
тюльпанов огнецветных! Это — Игорь
Тюльпанов у распахнутых картин.

Предметов благодарственные очи
горят повсюду. Все же он один
среди замыслов, слуга и господин,
слуга и господин своих отточий...

Один, — на сходе выверенных тайн, —
казнит и красит миг живой, проточный...
В подробностях древоточащей порчи
умильно просит каждая деталь

у кисти: — Будь и в прочном — быстротечной!
Выпаливая в лет павлиньих стай,
стань пристальной, поди пересчитай
свинцовые зазубрины картечин.

В напластованья отрешенных глаз,
в с атласом перламутровые встречи
впиши отливы, тем хмельней и терпче,
что синева по золоту прошла.

Но там, где цвет идет на овет, на трепет,
пожалуй, даже кисть дает отказ...
И только зоркое перо, кружась,
жизнь самое на тех полях затеплит.

Тепло касаясь, пузырьковый мыс
листу на загрунтованные степи
сквозь лона перепонки в полом стебле
передает, предписывает мысль.

Навершие парит, себя наведши
и плоское вперяя око ввысь.
Здесь, как ни изумрудно изумись,
древнейшее становится новейшим,

расплывчито-лазоревым. Но пусть
любой из нас заплакан и невечен.
Живем не мы, — немые наши вещи
вбирают хищно опыт, вкус и пульс.

А чудо ангелического слога
и радужные звуки свежих уст,
и самобытие мазка, боюсь,
даются только за чертой итога.

Но этот минус перекрестят в плюс
перо и кисть шепоткою от Бога.

Февраль 1978

Бортнянский. Православная Россия.
Над весями висит, светясь, Ave Maria.
Мы слушаем его, ее, как бы впервые,
взмывая на воздушных завитках.
И музыке в ответ великой, малой, белой
Капелла звездная над певческой Капеллой
в подпругах всеми скрипами запела,
кренясь на серафических ветрах.

Декабрь 1970

IV

Д Н И

Сестры, от всех болезней панацею,
беру я край одежды и целую,
его отводит крупное дыханье,
но братом я себя не назову.

Бывали дни большой просторной жизни...
А, может, у святого Себастьяна
под ребрами торчат чужие взоры?
Но оставайся ты моей сестрой.

1968

НЕСРАВНЕННОЙ

Несравненной твоей красотой
повороты реки, шорох леса, дыхание поля
не увлечь на сравнение с тобой,
не отвлечь от себя, чтоб они повернулись бы, споря
с несравненной твоей красотой.

Как бы ни были дружески общие взмахи ветвей,
не найти среди них лишь к тебе обращенного жеста.
Разногласна природа с гармонией лишней твоей.

Заглядевшейся сходством своих облаков и полей,
нет ей дела до твоего совершенства.

Июль 1965

Моя свобода и твоя отвага —
не выдержит их белая бумага,
и должен этот лист я замарать
твоими поцелуями, как простынь,
и складками, и пеплом папиросным,
и обещанием имен не раскрывать.

1962

В сердечный переплет,
хочу я или нет,
затмение идет,
потом опять рассвет.

Душой не покривлю,
когда скажу такое:
всех помню, всех люблю,
за все плачу тоскою.

Влечение, разрыв,
надсада поцелуя
и в сердце перебив
навек, пока живу я.

Навек, навек, навек,
навERNЯКА навечно
твое дрожанье век
вошло в тот сбив сердечный.

И Ваше там лицо,
и твой смятенный вид,
а в глубине кольцо
дареное блестит.

Начала и концы,
и слезы посредине,
как будто леденцы
сластят, горчат отныне.

Отныне и навек,
навечно, навсегда
твои в один ответ
слились и «нет» и «да»...

И вроде вышел срок,
а все тоска одна.
И скудость этих строк
лишь ею решена.

Вот я и говорю:
пока я что-то стою,
за новое «люблю»
плачу все той тоскою.

Сентябрь 1962

МАДРИГАЛ

Г. Н.

Тебя, красавица, не запретить,
когда тебе самой запретом быть,

и в комнате когда до потолка
строжайшая решетка — два замка.

Но значит дозволильницей слыть,
когда запретом быть, запретом быть.

Ты знаешь, так фонарь среди ветвей
безлиственных гнездо себе свивает,
как белые вокруг темноты твоей
рассветы белый свет располагает.

И так же точно, черный свет лия,
небесный мрак блистает отовсюду.
И странно улыбается моя
белесая душа ночному чуду.

И странное тогда заходит в грудь
словесное такое утешенье:
всю ночь прощаться с ночью — ночи суть,
а сердце сути все-таки прощенье.

А гром цеповный, а запретов лес!
Но сколько б ты меня ни отсылала,
в прощальном поцелуе, наконец,
простительная страсть была начала.

Ты — ночь сама. Ты свой сама запрет —
повсюду, но не рядом появляться.
Ох, милая, тебя бы мне... Ах, нет.
Тебя, красавица, хоть голосом касаться.

Май 1962

ЕЩЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ

Г. Н.

Километров редкий лес,
проводов железных трасса
растворяют твой отъезд
по всему — меж нас — пространству.

Каждый куст и каждый час,
звук отдельный в перестуке,
получают — каждый — часть,
соразмерно, часть разлуки.

С этим свойством не знаком,
создан силами влечения,
входит в сердце целиком
только образ твой вечерний.

Только ты, отдалена,
узнаешь по праву страсти,
что и вправду страсть одна
нераздельная в пространстве.

И еще узнаешь ты:
кто распробовал однажды,
до чего ж беды, беды,
потрясенный, снова жаждет...

Но пока твой путь таков,
что заполнена разлука
шевеленьем облаков,
бездной воздуха и звука.

Июнь 1962

ПОРТРЕТ

В. А-ич

По черному, вгоняя землю в дрожь,
зимы прошелся белый грифель,
зимы промчался черно-белый вихрь,
замахиваясь на меня, как нож
разбойничий. Бросая душу в дрожь.

По-черному пришла ко мне любовь.
Как птицы по ночам с насеста
срываются, нам оборвавши сердце,
разбив крылом и оцарапав бровь,
ресницы обломив, пришла любовь.

Такое ж обмиранье и испуг,
во рту такой же стукот drobный
и — крупно — глаз дрожащий и огромный,
и шарф, и вырывание из рук,
как птицы крик ночной и вкривь и вдруг.

Да, образ твой меня, как мягкий нож,
грозя бедой, вгоняя душу в дрожь,
застал, застиг,
как «Стой, подлец, молчи!» —
азартный крик грабителя в ночи
под окнами прохожих застает.
А выглянешь — одна зима идет.

По белому, роскошествуя черным,
но и не тратя все без толку,
то прутик выбелив, то затенивши елку,
то наспех кое-где черкнув вороной
над крышею, морозом убеленной,
она (не различу — зима? любовь?)
пришла, и белый шарф, и глаз, и бровь.

Февраль 1963

Ц В Е Т Ы

В. Ф-ль

1.

Знаю, возможно... А ветрениц вислую стаю
мне за цветы посчитать не дано.
Нет, невозможно, я знаю...
Или возможно, а, стало быть, и суждено.

2.

Невероятный двукратный восход,
я б сказал, — рождество анемона
может меня потрясти до основ.
Влажно, и кротко, и гладко раскрытое лоно
ладится в душу себя вцеловать неуклонно...
Первым залогом... И цвет его красен, лилов.
Первым залогом и радужным абрисом края
свежая рана сладчайшая, сердца порез
сразу, сразбегу о белые нежные грани...
Я умираю, рождаюсь, родился, воскрес.

3.

Резвый цветок! А вот новый, из розовых линий,
темных мушек и жарких полос.
Мрак тигровый, ковровый, тяжелый, меня обуявший,
из лилий
изливается в дождь лепестков. И, светящийся, длинный,
за улиткою тянется лоск.

4.

Но едва ль тут сирени сырые провалы уместны...
Да что я!
Неуместна, да и невозможна сирень.
Лучше ночь изнурить до конца белой метой левкоя,
и наружу бы выудить душу в курчавые колья
гиацинтов, и будет пускай цикламен поскорей.
Или выпить до дна из пиона одним нескончаемым
вдохом
нежность перистых, мощь кучевых лепестков.

Горек выдох, однако, и цедится даль маслом сохлым,
и мелеет душа у прихваченных тленом листков.

5.

Но начинается страшная роза.
Немыслимый, на смерть скручен цветок.
Изнутри загораюсь, она, в желтой дури наркоза
сопротивляется сну. Но, сон, глубок.

Потревожу ль его? Распечатаю ль, изнемогая?
Да! Хотя б в покаянии рухнув, замаливать
мой нежный труд,
пламенеет ли в нем с боголебедем Леда нагая,
или в гладах граясь и играя,
роза розовогрудая смотрится в пруд.

Первой розе, и розе случайной, как и последней,
исходной —
верю. Веру мою — роза — ласково — включь!
Глянь, что сделала — вот, не угодно ль?..
Грянь, будь розой ужасной, прозой будь свободной,
душу выдворь, побудь за нее, да и выпорхни прочь.

Май 1969

МГНОВЕНИЯ

1.

Ты, единственный, дымный, чадающий,
жизнь чёркающий, как черновик,
ты, себя, уходя, не щадящий, —
вот мелькнул, вот запутался в чаще
площадной: из троллейбусов, книг,
пульсов, роз, и разлук, и гвоздик...
Нет святых, нет больнее и слаще,
нет — тебя, пропадающий миг.

2.

Хоть на полглотка — неполная
в полноте земного дня, —
вот какой тебя запомню я.
Ты запомнишь ли меня?
Иль в твоём текущем имени
кучей темного огня
все года мои, все дни мои,
жалкие, живые, дымные,
жаркие, спалят меня?

3.

Жизнь, мистический Грааль!
Если в жарком закуте
обретаемый рай
гибнет ежесекундно,
значит, время — цыкута, —
пей, цветы, умирай.
Этой низкой игрой,
где никто нам не судья,
увлеклись мы с тобой,
потому что до сути
недалеко отсюда,
шаг, — и вот она, стой!
Жизнь святая, цветы
в грязной, в нежной работе,
в чистом поте, в пути,
в темном опыте плоти,
в самом смертном полете
умирай, но цветы!

4.

В куче листьев чернея, краснея,
занимается темный огонь,
и ползет ароматная вонь
по какой-то фанерной аллее.
На щитах — не портрет Лорелеи,
но убитые дети двух войн.
А живые — зверюшками — вой
затевают, и лая, и блея...
И в режиме расчетливом тленья
зимовать мы решились с тобой.

5.

Ты не забыла о дворцовой церкви,
где отсвет люстры взяв за образец,
по изразцу скользнув, к царям, бывало,
входил нарядный Бог?

А помнишь ли фарфоровые лары,
которые в плену жеманных поз,
казалось, хрупкую предпочитали смерть
застывшей глуповатости секунд
остановившихся? Их позы — помнишь?

А мраморную бабочку в ладони
и белизну брачующихся душ,
и ангельское их предцелованье?

Еще бы... Как забыть! Ушло мгновенье,
а нам уже за ним не промелькнуть.

И этот львенок с гобелена —
случайности свидетель долговечный,
и тот наружной лепки херувим —
непреходящий соучастник мига.

Львиноголовая царица,
Сын человеческий в кровавом крапе,
распятый в глянцево-ночном окне.
Ты видишь, как опасно быть вдвоем!

6.

Научившись кой-чему из книг,
обзудаем миг хотя б на миг.

Хочешь, на четыре такта, как, —
по-пейзански стрижен, бронзов, наг,
вечен, — гренадер сдержал коня...

Или так — смотри скорей в меня...
Вот еще средь конных игр игра:
об руку рука, мотор и выюга,
и — с кавалерийского горба...
Миг... Прыжок сердечный... Крик испуга.

7.

Обломки льда лежат на льду же,
и полынья дымит от стужи,
становится все уже, уже
черно-прозрачная вода...

Что было тут?
Когда так целостность раздрана,
в пространстве временная рана
горит —
не утонул ли тут жених Авроры?

Пока невеста горевала,
состарилась и умерла, —
раз полтораста оледеневала
река, — он, видно, не спешил судьбой
и дотянул до наших вот времен...

Форель ему навстречь стучала,
но чудо завершил другой поэт:
в созвездьи Рыб —
которая твоя форель играет?

Прозрачно-черная вода
становится все уже, уже,
и полынья дымит от стужи...
Обломки льда лежат на льду же,
и нерушимы души,
и неподвижны бывшие года.

8.

Тебе, королеве мгновений,
купаний, касаний, сейчас уже не королеве,
тебе посвящаются розы,
грозящие автора их пережить.
Пусть не слышно напева,
пусть истлеет строка —
лепесток полон нежной угрозы
пережить, перецвести даже бурно растущее древо...

Ритм уже отнесен монолиту молчанья.
В тиши океанского зева
наша доля с тобой —
это дикая доза свобод,
королева мгновений, и вот уже не королева.

9.

Колосс родосский
и маяк александрийский,
железный столп индийский,
башня Пизы,
Герakлова неистовства следы,
к ним — тусклая улыбка Монны Лизы
и в облаках цветущие сады
Семирамиды,
и пирамиды,
и невозможность у мгновенья
дленье,
и ускользящее божество,
и ужас повторенного мгновенья,
и двух сердец на миг, да и навек родство...
Сердец кроваво-темное биенье.

1969—70; 1968

ОБНАЖЕННАЯ

Беспомощно забился в череп разум,
и — тишина из-под тяжелых плит.
Глаза прикрыты, но павлиньим глазом
прикосновенья вспыхивают разом —
под каждым пальцем радуга горит.
Кровь зрячая сбивается с орбит,
спеша на этот праздник протоплазм.

Ладонь богата золотом длины,
рецепторы ее поют, ликуют в трансе:
благодарственна вотнутая трасса,
хребтина нежная, спины
двуречье, элизейское пространство,
где сухожилья чутко сплетены.

И, чудное, как полнота разбега,
глоток полета и паденье ниц, —
конец любовной азбуки, омега,
двойное совершенство ягодиц...

Переворот страниц —

и вспыхивает блиц

из-под ресниц во тьме, белее снега.

Горит во тьме коричневая буря,
и пристальный блестит оттуда взгляд;
на глубину зубчато затененный
белок пронзительно зовет уйти назад, —
колючей проволокой пропороть грозят
сетчатку глаз ресницы обнаженной.

И собирается в прищур

терновник; яростно идет со взглядом

схватка взгляда,

зрачок зияет рвом, и так мрачна опрада,
а наготу уводит лишь одно —
шипы почти скребут глазное дно,
но взгляд не оторвать от взгляда.
Где прозно так блистает мозг, —
смесились в ядра и простор, и воля.
Взгляд искривляется, и гнет, и мнет его,
как воск,
но зренье боковое,
всплывая, наготы улавливает лоск,
блеск бурного ее покоя.

В развалинах тугих крахмального тороса,
в дыхании теневых полос
извилисто по телу свет пополз,
и вот овалы торса,
что в падающей позе распростерся,
уже смываются окраинами слез.

До слез двоится истовое зренье,
до плазм, до недр напрасно все круша.
Пирует здесь полу-наружная душа.
Ее — благое было с ангелом боренье,
о ней — прокочут листьями деревья,
она — и в женщине, и в буре — хороша.

1972—73

V

НЕБЕСНОЕ В ЗЕМНОМ (почти молчание)

Т Е М А

Оставь, как было, все, что было, —
смесь неизбежности и пыла
и разрывания в груди,
но только — нет, не уходи.

Не покидай меня, не покидай...

Не оставляй с самим собою
меня, пропоротого болью —
хоть удались в любую даль,
но только — нет, не покидай.

...по самому простому праву, —...

Ведь я себя бегу, как птица,
что перьев собственных страшится:
из них любое — острие,
и все направлены в нее.

...но ты и в радости не покидай, ...

А ты разлукой, самым острым
из этих перьев, скрипом костным
меж ребер вводишь скрежет, нож,
до сердца, там и повернешь,

...когда я тороплю расправу.

Не покидай меня, не покидай,
когда разъят я в этой стуже.
Но и в радости не покидай, —
она всех стуж похуже.

ЧУЖОЕ СНОВИДЕНИЕ

Такой ночной горячий полубред
и полувопль, хотя и с долей смысла,
минуя слух, в мой сонный мозг ломился
за первым сновиденьем, сразу вслед...

Так начинал невольный гипнопед
свой лепет, словно вяз под плетью ветра, —
своей бедой настигнутый сосед,
товарищ мой по съему кубометра
жилых просторов.

Общий наш закут,
когда стихали кухонные недра,
и строй эмалированных посуд
уже не брякал крышкой о сосуд,
сосед мой начинал негромким воплем.
И, хоть не прерван плачем из угла,
но сон уже был скомкан, покороблен,
и жалюба, крутясь, в меня текла...
Потом я просыпался, шел в дела,
не ведая, чем ночь меня терзала...
Но голова в дыму, как свод вокзала,
покинутого поездом, была,
да в сердце — скрежет битого стекла, —
чужая боль меня не покидала.

ВАРИАЦИИ ТЕМЫ

Не покидай, и не дели свой путь
на два пути — судьбы и сердца,
где в трещину меж них и не взглянуть, ...

Пусть никогда ничтожность, малость
до слез твоих не подымалась,
и только я взметаюсь, прах,
но лишь возмездие в глазах,

...одно клубится бедство.

Однако, знаю — будет день измен.

Когда беду наизготовь
держат лишь ради перемен,
приворожит она любовь,
а та приманит день измен.

Он страждущим — содрав повязку...
Так что же — мне? тебе? еще там
кому-то обернется счетом, ...
...на голову обрушит свой безмен, ...

кому-то обернется счетом,
и примет черный оборот
тот новогодний поворот,

всему неся развязку.

Тот новогодний поворот винта,
когда уже не флирт с огнем, не шалость
с горящей занавеской, но когда
вся жизнь моя решалась.

ОБЩЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Не пелену набрасывает сон,
а личности расплескивает он
и заливает ясные границы
мои, твои, соседовы...

Все лица
так метят в самое меня вселиться,
что и не знаю, чей же это сон.

Тогда, с тогда еще чужой невестой,
шатался я, повеса всем известный,
по льду залива со свечой в руке,
и брезжил поцелуй невдалеке.
И думал он в плену шальных иллюзий:
страсть оправдывает все в таком союзе,
все сокрушит; кружилась голова,
слов не было.
Какие там слова!

С кем это было — с ними? с вами? с нами?
Все затянуло общее бытие,
а, может, это — сон? воспоминанье?
предчувствие? Его? мое? твоё? —
не знаю.

Новогодний дачный дом
их ждал с компанией дымной за столом.
Вы, двое, обрученные, явились
(а может — обреченные?), и вились
вкруг нас двоих,
и в твист плелись картинно,

запутываясь, ленты серпантина...
...вкрут вас двоих...
...и в твист плелись картинно,
пути запутав, ленты серпантина
вкрут этих двух...
Но что ты? Спятил разве?
Откуда взялся этот жирный гном?
Да там ли я, на той ли лыжной базе?
Что тут за люди в пьяном безобразьи,
разбитые кто дракой, кто вином,
кто преуспев на поприще ином...

Но врезалось, как свой, как личный опыт:
она, ее свеча и светлый обод
свечи, чужого праздника фрагмент
и острый огонек средь плоских лент.

Но как остановились эти лица,
когда вспорхнула бешеная птица
в чужом доме на занавес в окне,
в чужом доме, в своем дыму, в огне...
Немногое пришлось тогда спасти!
Нет, дом был цел,
но с полыханьем стога
сгорали все обратные пути,
пылали связи...

Ночь ушла к пяти,
и я уже забылся в ней немного,
но услышал начало монолога.

МОНОЛОГ СПЯЩЕГО

Нет пути от меня, нет пути для тебя, нет дорог!
Нет, вернее, путь был, но его уже все, пересекая
путь к ночлегу, ночлег, и до нас за пятнадцать минут
не успевший как следует и отдышаться, вздохнуть,
тот оразбегу взобравшийся в горку еловый лесок...
О, сквозь ветки прозрачно его голубеет висок...
И какой-то секрет, непонятно: вблизи? вдалеке?
только что-то он прячет, таит, как монетку в руке,
шевелит у себя за спиной, и потом, — две руки,
два ствола,
предлагая — в каком? — выбирать... А, была не была,
в левом! Возглас, смятение, возглас, испуг:
«ох, лисица...»
желтый мех и со стуком сердца желающий слиться

по прибитой земле убегающий вдаль топоток...
И возникшее сразу же и навсегда, как итог:
нет пути от меня, нет пути для тебя, нет дорог.

Цветок, раскрытие страницы,
кружащий лист — все птицы, птицы;
движение брови, взмах ресниц, —
ты всюду, всюду видишь птиц.
Они летят в твоих тетрадках,
их тень на вологодских трактах
пересекает поперек —
как шпалы — рельс твоих дорог.

Но видела ли ты когда-нибудь
(заранее тебе в сердечном вздроге
скажу по правде — нет!), что птичий путь
висел бы вдоль дороги?

Если был он, тот путь, то его уж давно завели
повороты небес и неровности, обивы земли,
ветвяные решетки, стволы и еловые кущи
к той дождливой и птичьей, к той хвойно-рябиновой
гуще,
где и вправду ведь рай был в еловом живом шалаше.
Льнули двое безбрежной душою к безбрежной душе...
Кто там был? Никого — только мы, да глядевшие в нас
сквозь тяжелую хвою: и рденье рябины, и глаз
той сиреневогрудой внимательной крохотной птицы;
как зрачком, этой птичкой водили лесные глазницы,
с нас ее не сводили, пока не смежилась хвоя.

Из бывшей, списанной столицы
мы вырвались, как две страницы;
лес эту грамотку обстал
и наспех нас перелистал.
Листал, как ветер лищет книгу,
нисколько не следя интригу, —
взглянув поверхностно, чуть-чуть,
он сразу схватывает суть.

Нет, был путь, был же путь, но мой поезд, как нож,
разрывая разлуку, проткнул заодно твою ложь.
Ничего не забыв, но отведав от этих измен,
чем же стал я теперь?, если мною он благословен,
этот путь от меня и колесами, значит, по мне.
Сколько шпал, столько раз приходился на полной длине
стук железный, колесный по стуку живому вот здесь...

Два рельса спорят в этом стуке:
один грохочет о разлуке,
ему гремит наперебой...

...стук железный, колесный по стуку живому вот здесь,
где тебя прославляет сама нестерпимая резь.

...ему гремит наперебой
о возвращении — другой.

Я вот что говорю: и в счастье есть,
о чем молчит любовная наука...

...я говорю тебе: и в счастье
есть мука разделенной страсти,

которую сердцам не перенести,

она не делится на части,
и только редкие сердца
ее выносят до конца,
входящую без стука.

ДИАЛОГ С УХОДЯЩЕЙ

Сводило судьбы ближе, ближе:

— Тебя я сквозь деревья вижу...

— А ты мне брезжишь впереди...

И — перекресток на пути.

Страсть, осененная ответом,
ослеплена своим же светом.

Опоминается она,
когда уж все — разделена.

— Ты не покинешь? — Не покину...

Самой уж нет наполовину...

— Так не оставишь? — Не оста...

Звук пропадает, даль пуста.

И меж ответом и вопросом
стоят деревья полным ростом...

— Куда ты скрылась? Где ты есть?

Издалека: — Я рядом, здесь...

Не покидай меня, не покидай,
когда разъят я в этой стуже,
но ты и в радости не покидай,

я принимаю эту муку,

она всех стуж похуже,

горстями вычерпав разлуку
и выпив с милого лица
всю безучастность до конца...

АВТОРСКАЯ РЕМАРКА

В душе подрутам это не с руки,
безмерность чувств им кажется чрезмерной,
и где нам уследить за этой сменой...
что было «настроенье, пустяки»,
кончается побегом и изменой.

Пусть мы от сантиментов далеки,
в молчании пусть по горло тонет повесть,
но другу ты попробуй-ка солги,
когда я сам под старые долги
купил ему билет на этот поезд.

Ну, добирайся к ней по городам,
по вологодским льдам, весенним бродам,
мол, никому на свете не отдам,
ну, по расспросам, камушкам, следам,
и обнаружь с любовным антиподом.

Тот знает, кто следил через стекло,
что было там, в гнезде пустого дома...
Я так скажу: что было, то прошло,
но не дошло, как видно, до худого.

И вот он с ней уже вдвоем сидит.
Они вдыхают злой дымок кочевья,
не греет придорожная харчевня,
не отпускает нервы даже спирт.
За тонкой стенкой паровоз сипит.
Впотымах скрипит у стрелки куча щепня.

Они молчат. А что сказать? — «Бог с ним,
верни мое?..» А что мое — надежды?
«Сама вернись...»? Но вот она, как прежде...
Она. И лишь дорожные одежды
уже пропахли запахом чужим.
Ну, что ему сказать, скажи на милость.
Ну, что ему сказать, что ей сказать!
Что за пустой и тибельный азарт,
которым сердце милое надмилось!

А ночь предполагала монолог,
который бы вполне прочесть он мог.

МОНОЛОГ ТО ЛИ АВТОРА, ТО ЛИ ГЕРОЯ

Знаешь время — то год пролетит, не заметишь,
а то иногда
меж средой и субботой, бывает, проходят года —
так ветшает душа, так стареешь за несколько дней...
Но тебя я люблю с каждым днем, с каждым годом
сильней.

Опасайся меня, и какой-нибудь щит от меня приготовь:
все быстрее вкрут сердца, все чаще вращается кровь,
не подумай дурного, тебя не берут на испуг,
но вращается кровь, превращается в розовый круг,
голова закатилась, разбросаны в стороны руки —
как бешеный бык этот бешеный бег центрифуги
стучит нет гудит нет ревет разрастается гром
черно-красного цвета шипящий сухим серебром.
Сотрясает основы и жизнь мою мощно трясет
сотрясает как стебель судьбу ухватив за хребет...
И ломлюсь напрямик, и не выбраться мне из кольца,
и СУДЬБА — это СТРАСТЬ, только понятая

ДО КОНЦА,
приготовь, говорю — я торю — что-нибудь приготовь:
тяжелеет, ревет и враща — и вращается кровь;
что там? — гвозди, клыки или звезды? — того и смотри,
эта острая кровь продырявит меня изнутри,
как буровит меня каждым словом горячая речь,
так и ты — опасайся! — вдруг краснея свиснет картечь.
И с какой безнадежностью все же я все же зову:
край серебряный, крепкая старость, ау!

Не дожидаться тебя, не пробиться к тебе, не пройти.
Нет пути до тебя. Для тебя нет пути. Нет пути.

ДУЭТ ГЕРОЯ И АВТОРА

Есть темный свет.

Его полуовальная дыра
в фасаде арку прокопала,
она выводит черноту двора
на ров канала.

Есть светлый свет.

Но почему же так темно? —
Была там лампочка давно,
и в голой темени ворот
висел ее прозрачный плод.

Его не видит белый свет.

Какой-нибудь лихой гуляка там
шатался над рекою —
не я ли сам? Не я ли, прежний, сам,
своей рукою?

Есть светлый свет, —

он, веселясь, его раскокал,
и лопнул плод, остался цоколь,
не развинтить уже патрон:
края, как бритвы, — только троны!..

Есть темный свет, —

попробуй только — сразу до кости
разнимут плоть они почти приятно —
так мокро, остро, Господи прости,
проступят пятна. —

При скручиваньи многих бед.

Есть полый свет воспоминаний
и темный свет благих страданий,
и светлый свет счастливых лет,
и жизни, жизни полный свет.

Двинь сердце, словно маятник толкни, —
все беды я благословлю за это.

Как ночи — так и выворочу дни
изнанкой света.

А с твоего лица — соблазна
два пепелища слезных, глаза
в меня глядят, дают мне — нет,
лишь утешенье, не совет.

И утешенье, и совет —
Тот, Дантов, свет.

ВЕРХНЯЯ ТИШИНА

С душой, опустошенной от блеска,
проснулся, вижу: сбилась занавеска...

Примета — дальше некуда — плохая,
когда в окне разбойничья звезда,
сам Сириус, чудовищно порхает
и тьму — на ромбы, кубы, обода,
и — к самому главному дну, туда...
И там он сатанински полыхает.
Свет ширится как лай, как гам, как гром
в ночи за ланью порскающей гончей!
В сердечной сумке прыгающий ком!
Заглотанный в желудке волчьим корм!
И злоба дня средь вечной злобы ночи...

Я — мимо друга, к темному окну,
и нижнюю услышал тишину.

НИЖНЯЯ ТИШИНА

Водопровод разыгрывает фуги,
и рвется с электрической подпруги
семейный ледник, тину ржавых щек
у поплавка скребет, шипя, бачок,
сочится кран, и капель звук упругий
разносит полновесно: щелк да щелк...

И слышно все то четко врозь, то слитно,
то счетчика насвистывает диск,
то за стеной растет туденье лифта,
и бормотанье друга будто влито
в тот незавидный тихий гвалт и визг,
но высится как ствол, как обелиск.

ДОГАДКА

Горит, я вижу рот у страстотерпца,
и слово из-под неба — до небес,
ширяет меж глубин, высот и бездн,
беда и радость разом входят в сердце...

Ах, радость эта пуще заусенца
и саднит, и отпущена в обрез...

Но отчего же так во тьме широко
поет его беда с припевом рока?

Что за — для сердца непомерный — стук
звучит в его грудной органной фуге!
И страшное подумалось о друге:
что если счастлив он от этих мук?
Не ищет ли страданиям он продлений,
и, может, это цель — любовный крах?

ПРОПИСЬ

Плоды твои не в ветках — в облаках.
Для слез рисуй и для увеселений
не яблоко — но с яблоком в руках
портрет вселенной.

ПЕРВОЕ ДВОЙНОЕ СОЛО (ДЕНЬ)

А на одной из этих веток
висит, качается от ветра —
как яблоко — безбедно круглый день...
И мы с тобой на берегу залива,
и даже солнце не бросает тень,
и ты счастлива...

Как солнце, яблочко желтеет,
а у него на чистом теле,
поглубже спрятать норovia
разлуку, — черный след червя.

И я разламываю плод, и день, и боль —
в изломе бело-искристое тело.
Так счастье — пополам — у нас с тобой
внутри блестело...

А сутки солнечны и лунны,
в них золотые поцелуи...

...вот нам уже и суть обнажена:
гнездо червя и червь в плодовой сумке,
и красные лоснятся семена, ...

...как золотые поцелуи...

Но день разломлен пополам,
и вот уже открылось нам —

и красно-золотые семена,
и горстка крупки.

Сухой отравы, злой разлуки,
коричневой горчайшей крупки
в сердку счастья всыпал горсть
своей нуждой гонимый гость.

О, как бы мне о солнечной любви,
свой голос выводя вразгон, до нельзя,
о, как бы мне взять эту скорость
петь о тебе, как пел седой Луи
о престарелой Эльзе!

О, как бы мне взять эту скорость,
...вразгон, до нельзя...

но раздвоился, сбился голос,
перехватила горло дрожь,
рука схватила, схватила воздух.
А он уплыл, расплылся в звездах,
от блеска отскочила ржа,
и не достать уже никак
его, повсюду блеск и мрак.

И входит млечная межа
в неразделенный блеск и мрак.

ВТОРОЕ ДВОЙНОЕ СОЛО (НОЧЬ)

Рассыпалось вверху сиянье, прах...

А в черном, а в блестящем свете
на продолженьи каждой ветви
как знак условного плода
блестит не ягода — звезда.

...по небу — сеть ветвей до половины...

И страсть мерцает дивно, грозно,
а лобный свод ночного мозга
сквозь эту сетку тянет ввысь
свою ветвящуюся мысль...

...и ягоды запутались в ветвях...

Не в бездне, нет, не кружит, нет, не прах —
кора небесных нежных полушарий
шлет сведенья о свете, свет, — во мрак.
И в холод — о пожаре...

...ночной рябины.

И светлый мрак и жаркий холод,
как уголь и селитра — в порох
соединенные — одной
вдруг стали взрывчатой средой.

Не в бездне, нет, не кружит
и светлый мрак и жаркий холод,
нет, не прах —
кора небесных нежных полушарий
как уголь и селитра — в порох,
шлет сведенья о свете, свет,
соединенные —
о свете, свет — во мрак,
во мрак
одной
вдруг стали
сведенья о свете, свет — во мрак
и в холод —
взрывчатой средой,
и в холод — о пожаре.

ПРОЛОГ НЕБЕСНОГО ДЕЙСТВИЯ

У черного пожара черный горн.
Свод вымощен. Булыжник гладок, черн.
Задрав копыта, скачет в поздний час
крылатый перевернутый Пегас.
Огромно-тяжело, во весь опор,
оскальзываясь, прыгает он.
Скор,
могуч битюг, сдвигающий с разбега
все небо, ломовое как телега.

Так, чтобы дело не погасло,
давай ускорим скок Пегаса!
А это что там? Милый Скит — ...

ЗАНАВЕС

В мерцаньях, в темных громожденьях,
в толчках сердец, в сердцекруженьях —
во всю площадную звездоточь
над головой твоей клубится, бьется ночь.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

...А это что там? Милый Скит —
лопатка конская блестит,
по небу порскает Лисица,

и дивная дневная птица
летит, спасаясь от Орла,
но ранит Лебедея Стрела.
И, принужден склоненьем ночи,
склоняет шею он за рощи...
Но где ж охотник? Вот и он! —

Это выпорхнул, выпорхнул вверх в небосклон Орион.

И, вбиты весело-светло,
как гвозди в польское седло,
на узкой перевязи вряд
три ярких пвяздочки блестят.

Хоть суть их искрометна, —
в них холод инструмента,
ножа и сердца спор
и скальпелей набор.

Левей над ними — белый гейзер:
дымит, как магний, Бетельгейзе,
а ниже — Ригель стеклорез
не светит, а свистит с небес...

А в стороне — сторожкой Вега,
окном небесного ночлега
горит,
и кроткий этот вид
опасно путника манит.

Но глазу сладостны, приятны,
сияют милые Плеяды...

СЮЖЕТ

...Бег Персея в ночи оглашает он сам звоном света
и меди, как знаком победы,
остужают бойца самый бег, и прохладная ночь,
и прохладная грудь Андромеды.
Альмах, Мирах — вот ласкам героя названья, среди них
поцелуй — Альфераа.
Те же фразы и позы с тех пор повторялись не раз.
Альфераа, Альмах, Мирах в обломках поспешно
разбитых цепей...
Бурный брак наблюдает из мрака, глядит недоволен,
угрюм царь Цефей,
но прищуренных глаз свет струится на все сквозь
ресницы —

это зятю и дочери

благословение

Кассиопей, царицы.

Но вот небесная дорога
прозрачная, ведет отлого
к отрогам неба, в тот простор,
где не окончен давний спор:

В ГЛУБИНЕ СЦЕНЫ

Денеб мерцает нежно, мокро,
и свет его ласкает окна,
он и томит, и утоляет,
и взор любой навстречу тает.

Прозрачна грусть, прохладна нега,
где виноградинкою Вега
дрожит среди небесных тел,
благословляя наш удел.

Они мерцают нежно, мокро,
их светлый свет ласкает окна,
и взор любой навстречу тает...

Любой, но только не Альтаир!

ПЕРЕД ЗРИТЕЛЯМИ

Глядит Орел насквозь, до дыр
пронзительно на мягкий мир:
следит он с тем же выраженьем
и своего птенца, и жертву,
и сеть, и ловлю, и ловца,
осуществителя конца.

И в ослепительном чернейшем этом свете —
презрение к бессмертию и к смерти;
взиратель с неба тверд, и остр, и жесток:
вся грань земная, все алмазы — воск
под взглядом, гнущим Бога самого;
смерть не бессмертна — знание его.

Но не будем, оставим до срока, ведь рано его
до заветных времен и пригубить его не суметь
двинет лыстью хвоста это слово, смолкают уста,
отступает ловец,
ну, а слову-то, слову и дальше белеть, наконец.

разуметь:

(не посметь) —

рвется сеть,

РАЗВЯЗКА

Ну и слово!

Но вовремя все же пришло, настало...

А слова до конца так исполнили жизнь,
что уже бормотаньем исходят под настом —
на слога разнимает их смерть.

Что вязало двоих,
одного доконало...
Но который из них
оказался в живых,
и кого там списала канава?

Но однако смотри —
ведь горчит же, торчит из забвенья
лес когда-то полезных минут.
И рябиной полезло с под снега
прутье в забытии,
позабыв, что для роста не время,
что срок миновал.

Срок — он, верно, — один.
Но бывает: далеко
мимо свадеб, крестин,
из пределов и длин
выбегает дорога...

И уж если настолько
себя разогнать до конца,
если делом считать окончательный вывод,
выход будет:
из полостей запредельных
можно выпростать пользу.
Так рябина в декабрь забросила кисть.

А на гроздь — то дрозды,
то синицы, то — вот — снегири.
Снегири на рябине
и сами-то — красные гроздья,
а за кисть
или прямо за страсть ордена;
снегири на рябине за эту посмертную пользу.

Но взамен всех красот,
вместо пользы от перца,
при красотке трясет,
сыплет прямо на сердце.

Бог прости страстотерпца!
Он ведь с ней визави,
и волнуют красавца
результаты любви —
что ж, давай, затрави
с ней любовного зайца.

Но когда результат убегает,
тогда
нам
до этой ли цели?
Версты, ветры потворствуют слову.
С этим делом, считай, что тебе повезло:
не красотку, — красавицу славишь.
Тем же словом и местность свою обойми —
доросла до России
твоя непомерность.

Потерпевшему страсть,
как крушение и бедство,
утешение всласть
будет, если припасть
прямо к родине сердцем:
— Дай-локой страстотерпцам!

Настежь грудь, да и только!
Только травля любовного зайца
удаляется за поля, за болото;
залетает за озеро
псовый тот порск,
где скотина пасется за насыпью, скосом и лесом.

Страсть не вышма,
а терпишь ее, словно боль.

И нужны ль тормоза
твоим вздохам и пеням,
если ты уже за
нетерпеньем, терпеньем?..
Отстоялась слеза,
как ни взболтан, ни вспенен,
если слово само
разрешается, слышишь ведь? — пеньем.

Святость мест, где любил.

ФИНАЛ

Святость мест,
благовест,
свет окрест,
где любил;
там, где, тысячекрыл,
ты взлетел, ты прошил
даль и ширь,
глубь и высь —
все пределы сошлись.

Только слово да свет
свету с неба — в ответ;
многолет,
благовест,
святость мест,
где любил,
где ты был
в полный рост
с головою до звезд.
Звездный шорох и хруст...
и торчащий из уст
жалоб, воплей
пылает
красный скрученный куст.

ЭТО КТО ТАМ ВО ТЬМЕ ПОЛЫХАЕТ?

Это ночь по глоткам
всю скудель выпивает,
это песня, как фразу,
тебя по слогам выпевает.

ЭПИЛОГ

Поэма кончилась, как ей хотелось — в полночь.
И вот она в молчанье продлена,
где слову отшумевшему на помощь
пришла бушующая тишина.
А слез-то было, криков, чтобы, — помнишь? —
остановить беглянку. Где ж она?

Не запереть мгновения засовом,
и женщину не остановишь словом.
Она в цезурах, в паузах жила...
Но помнит Геркуланума зола
о тишине посмертной — полым лоном,
пустотами, вмещавшими тела...

А где ж мой страстотерпец темнолицый,
где этот спящий друг, двойник, сосед,
что плел в ночи горячий полубред
и полувоплъ, хотя и с долей смысла?
Приснился он, или со мною слился,
но я один. Его здесь больше нет.

А кто ж остался? Неужели — автор?
Но нет, в свое таинственное завтра
ушел, поставив точку, бард, певец...
И обернулся он с тоской внезапной
на песню, опустевшую вконец:
— А, может быть, при ней остался чтец?

Читатель? — Нет. На то надежды мало.
Пути иные там подведены.
Итак, во тьме сердечного обвала
один лишь есть — Вниматель Тишины,
к нему мое молчание взывало!

Когда гудит орган столь мощно молча,
и бархатные бьют колокола,
и чувствуешь, как льнут к тебе из ночи
огромные прохладные тела,
поэма непрочитанная, значит,
тебя, твое молчанье, сотрясла.

1965—70

VI

ИЗ ГЛУБИНЫ

1.

То ли вишенья, то ли буру
 подмешали в чернилах:
что ни вытищется перу —
 все — кроваво, червиво.

То ли это калечится мозг,
 так буквально язвимый,
словно беса колючего Босх
 запустил вдоль извилин;

то ли, — жертва любовных ловитв
 под рукой сердцелова, —
растлеваемое, вопит,
 вырывается слово.

Нарывает, рыдает о двух
 душах, до крови рваных,
весь в буграх, искареженный Дух,
 как терзал его Кранах.

2.

Что ни час, то неровен...
А в часу нулевом
кротко блеющий Овен
пожирается Львом.

Срок истек человечесий.
В том и прок' неземной, —
насыщалась бы вечность,
что ни миг, новизной.

3.

Дух со следами огня
наклонялся, и жаждал в меня
углубиться.

Тень по границам лица
и внимательный взгляд пришлеца
вспышкой блища,

копотная полумгла
и пронзительный взгляд, как игла,
были близко.

Видно, выискивал брешь.
Двух кровей перейденный рубеж
и расписка

вызвали дух из огня.
Наклонялся, и жаждал в меня...
Я отбил.

4.

Куда с паденьем Люцифера
пробита шахтою дыра —
катастрофическая сфера
и центр ядра,

и самый гвоздь существования,
где боль его, и крепь, и кость
вселенская и мозговая
прошли насквозь,

где заживо ороговела
и одеревенела глубь,
но ржавая в крови каверна
проникла в луб, —

оттуда, из крошечной точки,
где все начала сведены,
забил таинственный источник,
ИЗ ГЛУБИНЫ.

1973

5.

Из глубины земной, воздушной, водной,
сребрясь и восклубляясь голубым,
пусть разрастется пульс во мне сегодня
до огненных и духовых глубин.

Пусть он развалит время, раскрывая
у мига — немигающую высь...
Здесь — вечность человечится живая!
Мое мгновенье, здесь остановись,

где нестерпимо радуется рана,
где саднит, мною ставшая на треть,
та жалость о себе, что слишком рано,
а я готов, согласен умереть.

Не раз я был учен, молчу и знаю...
Но хочет за пределы и края
запутанная, всякая, земная,
вот эта жизнь, какая есть, моя.

И в толщах бытия куда мы денем
сей нужный возглас: — Человеке, сгинь!
Пусть удами во мне трепещет демон,
но блудный сын свой путь уже проделал
в отцовскую чернеющую синь.

Август 1976

В груди гудит развал,
а память — скромница.
Да это кто ж сказал,
никак не вспомнится:

«Христианин мой дух,
душа — язычница.
За несогласье двух
с меня и взыщется»?

Такому должно тлеть
в стихах у Наймана.
Принадлежит на треть
обоим нам оно.

Да, это быть могло
у друга-братика, —
я узнаю стило.
Его ли практика?

Ну, так она — ничья...
Но прежде — Ардову
ее отнес бы я
вот с этой правдою:

— Дышать неумоготу!
А что причиною?
— Не обручить чету
неразлучимую.

Дух одержим одним,
душа — капризница.
И не расстаться им,
но и не сблизиться.

Он — мистагог, монах,
почти — у вечности.
Она во временах,
увы, увечится.

И все же суть ея —
зиянье трещины
по нем — крестом. А я —
как недокрещенный.

В груди разгул, развал...
Лишь память мучаю —
кто ж так умно сказал,
и прямо к случаю:

«Христианин мой дух,
душа — язычница.
За несогласье двух
с меня и взыщется»?

Декабрь 1976

МЕДИТАЦИИ

1.

о. Александру Меню

Покатой глубиной утолена,
медлительно скользит голубизна
и в бездне опрокинутой витает;
питает и таит она одна
и слезный, и глазной хрусталик.

Но вспыхивает грань,
голубизной наполненная всклянь
до искристого перелива,
и взгляд в голубизну летит счастливо.

И видится прозрачный взлет
в бесчисленные полосы высот,
в зенит, к живым высотам,
туда, в лазурь, блаженную, как мед,
где мысль медовая свеченье льет
и льнет к небесным сотам.

А за размытой бирюзой
и взгляд, и мысль, повитые слезой
от незаметных цветочных увечий,
целительные вызывая встречи,
в упор касаются Ресниц
и — взором пронизываются Зениц,
и — Мыслью — неземной, не человеческой...

Июнь 1974

2.

Воздушное струенье
и восходящий ток
вдруг вывернули зрение
под лобный потолок,
где, стиснутое в толщу,
отбросило оно
пронзительную точку
подзорное зерно.

И в разуме громоздком
тот высветило толк,
что любованье мозгом
есть первый завиток,
есть вольт самопознания,
залет в открытый храм,
и — в самое зиянье,
сияющее там...

Так, воспарив, извивы,
сдуваемые вбок,
сквозь листиков оливы
увидел голубок,
до края окоема
катящуюся течь,
что тяжестью влекома
в излучинах залечь.

По вечной сердцеvine
и вдоль изнанки век
мой замысел и выверт
сквозил навывлет вверх,

где сдавленные ткани
и веющая высь
свернулись завитками
в одну и ту же мысль,

что мы с тобой на память,
вселенная-близнец
живыми черепами
срослись в один венец,

в один блаженный ужас.
Напружась, ум свивал
цветущую окружность,
где центром — идеал.

Да, так наименован,
с тем словом и возник
всем оболочкам новым
образчик и родник,
самоначалю смысла!
Сосок его ростка
не в лепесток развился —
в идею лепестка.

В себя же и нацелясь:
исчезнуть, облачась, —
нагая эта целость
отслаивала часть

за частью. И вставала,
спеленута в постель
в листы, в напластованья
спиральных лопастей, —

Мистическая Роза, —
вместилище и кров
для трепетно и розно
развернутых краев.

Край мозга и пространство
окраинных крутиз,
свирипы и прекрасна,
пронизывает жизнь.

Меж уголков и складок,
среди тенет, где нет
ни тени, — дик и сладок,
все пронизает свет.

Весь мир светло и страшно,
проскваживает дар —
божественные брашна:
амврозия, нектар...

...Душа, роток открытый,
росу небесных сот
с благословенной сытой
из вечности сосет!

Сентябрь 1974

3.

Не отрицаю: знаю, — не достоин...
А сердце льется в тихую зарю,
и плавлюсь я, говею и горю,
среди кристально-ясного настоя
страдание вызываю золотое,
и ужасаюсь, и благодарю.

Да, в центре, у каемки на краю
страшит зрачок, сведенный, окаянный,
впуская мириады, океаны
Твоих сверканий, Свете мой Царю,
и я зарю за цвет благодарю,
за раны в созерцаемом сиянии.

За то, что изумительно слиянны
и зло, и благо; что каратом гвоздь
в незримую зиждательную Горсть
и — далее — в мои проник изъязны;
что муку вижу я как бы из ямы,
но высвечен до сердца и насквозь.

И вдоль извоев зренья, толщу свойств
пронизывая скрытыми путями,
нисходит луч светящимся питаньем
в глубины глаза, до животных звезд
и тканых средостений — вперехлест,
единым пульсом пусть бы трепетали

с зарей, ломимою прозрачным испытаньем!
Стопами сокровенными зари
от крестных единений изнутри
из полуклетки в полуслово прорастая,
блистая, занялась в груди живая Тайна,
открыто-золотая: ведай, зри!

И, зренье новое беря-в поводыри,
лети изломами целебного простора
туда, где молодая вечность свет простерла.
Там, Душе Всеблагий, благое сотвори:
возьми частицей в тело чистое зари!
Смели мои слова в молчание простое,
смети всю тишину в пустые словари,
и да раскроются ребристые устои...

Уста серебряные... Словно золотое...

Март 1975

VII

ЗВЕЗДЫ И ПОЛОСЫ

Посвящается О. С.-Б.

1. Полоса озерная

От массивного синего
до совсем невесомого серого —
все тона водяной окою
затопил переливную зеленью селезня.

Полоснул серебром через весь
пересвет с полуюга до севера,
с краю искру нанес,
распустил паруса посреди
неохватного зеркала-сверкала...
Средиземно раскинулся —
на океан —
Мичиган.

А бывает и розово озеро.

2. Тот свет...

...куда пути непоправимы.
Где-то звезда, то снова полоса.
Грядущего нарядные руины,
лириодендроны, бурундуки, равнины...
И — галактические небеса.
И — механические херувимы.

И — ты. По вавилонам барахла,
живой, идешь, хотя ответ и пропит,
свой поминальный хлеб распопола, —
где палестинам снеси несть числа...
Делясь, ты половиניшь вкус и опыт
по зарослям дерев Добра и Зла.

Да, ты — туда ж — с утопией великой,
с ужасною, как тот кровавый хлеб,
духовностью! Ты встречен будешь в пику
улыбкою тончайшей, поелику
здесь души не давались на зацеп
десятка двух «единственных религий».

И — каждая — для них за то не та,
что к счастью стыдному отнюдь не доступ.
(Единственность — язвимая пята.)
Тоталитарна только пестрота,
и абсолютны удобные удобства, —
в них даже грязь охранна и чиста.

Учись на всем.
И слушай содроганья
(бутылочная сыплется гора)
и рев зеленоводного органа.
По небу письма над Ниагарой
цветут, опять УДОБСТВА предлагая...
Горит закат огромно и угарно.
Горячих красок холодная игра.
Тот свет. И мы живые, дорогая,

3. Звезда

Какая яркая — огня и льда слиянья,
И — силится внушить пульсирующий знак!
Я мог его понять, но только сам сияя,
сияя, — что давно и далеко не так.

А виделось: горит в селеньях занебесных
оконная свеча в покое, где ночлег.
Последний перегон, и мысль истает в безднах
И все же не совсем, — так верит человек.

Но ежели вблизи мерцания и света
на месте мировом откроется дыра -
и слижет огонек, — примите весть, что это
кому-то на покой в той горнице пора.

Какая яркая, какая ледяная
и вечная... Хотя — вся вечность: до зари.
Мгновения мои в себе соединяя,
вот — и сорвется луч. Я говорю: — Гори!

4. Большое Яблоко

Из ядущего вышло ядомое,
и из сильного вышло сладкое
Кн. Судей 11—14

Американцы прозвали Нью-Йорк
Большим Яблоком.

Рабство отхаркав, ору:
— Здравствуй, Манхаттн!
Дрын копченый, внушительный батька — Мохнатый,
принимай ко двору.
(Реет с нахрапом
яркий матрас на юру:
ночью — звезд, и румяных полос ввечеру
он от пуза нахапал.)

Крепкий подножный утес
выпер наружу.
Нерушимую стать мускулисто напряжив,
будь на месте, как врос,
каменный друже.
Твой чернореберный торс
встал на мусоре Мира в нешуточный рост.
То-то вымахал дюже.

Стоит, наверно, утрат:
Родины, дома, —
на промады великого града Содома
этот вид, этот взгляд.
Мозгоподобно
кодами окна горят.
Подсмотревшего тайну снедают подряд:
робость, похоть, стыдоба...

(Словно смакуешь во сне
свинскую сладость.
Да, порочен и слаб, и с собою не сладил, —
спелся только сильней.)

Слабый-неслабый,
а за себя не красней.
«Ты есть ты», — прямо с неба абзацам огней
вторят быстрые слайды.

Сожран, а все же не мертв.
Жив, и немало...
А ядуший да будет ядом до отвала!
Тот, кто примет, — поймет:
враз разорвало
льва-монолита вразмет.
Вижу — рой в этом трупе, и соты, и мед.
Сладким сильное стало.

В старые мехи вобрызнь
сочное соло;
залезай-ка туда же с возней поросевой, —
в жадно-свежую грызнь.
Будь новоселом
и зарифмуй с парой джинс:

— Жри-ка яблоко по черенок, это — жизнь,
червячок ты веселый!

5. Индейское море

Хорошая земля. И навсегда — чужая.
Хорошая вода: огромная, у ног.
Укоренить бы в ней, деревьям подражая,
широкошумных дней хотя бы черенок.

А для того — унять внезапное мгновенье:
в нем настоящее. Былого ты лишен.
Ни страхом, и ничем привычным не навеян,
лишь валится в Ничто пустопорожний сон.

Я точно говорю:

— Мы — то, что наша память.

И если от «сейчас» отсечено «вчера»,
во лбу меж половин врубается тупая
не боль, наоборот, — морозцем топора.
И знаю: новизна всегда дориносима,
но древо символов при этом пало ниц.
И — нет внутри стволов: дриад, — лишь древесина;
не лиры на ветвях, — от силы: гнезда птиц.

Зато в какой чести вчерашние закаты!

Заметы памяти, захлебы напролет:

— А помнишь год назад, такого-то, тогда-то, —

в серебряной воде зеленоватый лед?

И если б удалось по срезу — сразу, сходу
болезненно пустить прозрачный корешок
в стакане озера, в пузырьчатую воду!

Тогда: и на земле, и в землю — хорошо.

6. У пожирателей лотоса

Пясть Америки,

крепость ее костяка:

вороние утесы Нью-Йорка,

серые грани Нью-Джерзи,

Пенсильвании желтые груды,

мраморы в падах Вермонта,

Массачузетса бурый гранит.

Десть открыта для дела,

а сердцу врасплох

как не екнуть.

Представляя кулак

и массивную биту:

удар! —

и Урал

перебит.

Нет, совсем не затем! —

где конечные вмятины

и отпечатки —

хватать! — за край континента

скалистая левая

противоперсть;

шуйца в рыжей

бейсбольной

перчатке

крепит вместе,

сжимая надежно, борта,

со десницею,

равнодержавная,

— есть!

Обе длани воздели

материковый котел;

в нем живая земля шевелится:

кувыркаются куры в обертках,
лотосы,
пучится кукуруза.
Плавню варится взвесь, —
деньги вскипают листвою,
и сплавляются лица
в пестрое сверх-лицо,
в надглагольную весть,

изъяснимую
на подводном наречьи,
столь же скользко-ледовом,
сколь подвижном, как видишь...
Так смешно говорить,
но тонически спойте, языки,
ваш новый язык.
Хорошо, что не Бритиш:
тот всегда
с недовольным подсосом,
с обиженным даже сюсюком,
в котором обмяк и обвык...

Но иначе рекут
все, вкусившие лотоса
тайно-сытную сладость:
в круговую поруку вступая,
растаются как с памятью,
так и с тоской.

Наслоенья обид
под наплывом труда
и комфорта,
изгладясь,
вместе с опытом страха
слезают с хребта,
словно толстая корь.

Вот и черпай от пуза
и ты, лотофаг,
этот кладезь
жизни,
просто жизни
спокойно-хорошей,
людской,

7. Лесная полу-полоса

Надо же, есть же такие места,
где и животным живется спроста.

Белочке — рай, коль не схватит енот:
с груш и орехов довольно щедрот.

Птичий почти: полу-свист, полу-шелк
выпустив, спрятался бурундучок.

Сколько ж тут, сладких для лис, барыщей:
скользких лягушек и вкусных мышей!

Знаю: запасец, запрятанный впрок,
есть у особенных синих сорок.

Что же до нас, что тут бродят вдвоем, —
как-нибудь эдак и мы проживем.

8. Полнота всего

Вечерние чужие города,
сравнимые с пульсирующим мозгом,
который вскрыт без боли и стыда,
(а кровь размыта в зареве заморском), —
внушают глазу выморгнуть туда,

в горячий мрак взглядевшуюся душу.
А та и рада стинуть в новизне,
сбежать во тьму, себя сама задувши,
повыплести всю внутреннюю — вне,
по завиткам и выгибам воздушным.

А если и светить, то лишь едва, —
летучей, эфемерной порошиной.
И — числить этажи, сиречь — слова,
не «богом из машины», а машиной,
сказуемой из глотки божества,

где, знаками осмысленно блистая
(сим электронным мега-языком),
горит надчеловеческая тайна,
с которой ты дикарски не знаком,
но силишься вписаться в начертанья.

И странно — чем вольнее мысль о ней,
чем больше от нее отнумерован,
тем сущность домышляется полней —
и кем? — тобою, трепетным нейроном
с обрубленной мутовкою корней.

Здесь мига не отложено до завтра...
От первых нужд, чем живо существо,
до жгучего порока и азарта, —
КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО
из черепа торчит у Градозавра.

Буквально самого себя прижав,
каков ты есть, ты по такой идее
неслыханно, неоспоримо прав,
из низких и нежнейших наслаждений
наслаивая опыт или сплав.

Вот потому-то, жизнью в усмерть пьяный,
в разгаре неувиденного дня
прошу: да не оплакивайте в яме
Мафусаила юного, меня,
исполненного звуками и днями.

9. Милые Оки

Нечто большое держать надо мужу под боком:
бабу, добычу, судьбу...

Брег океанский попать,
либо гору снести на горбу!
Иль по Великим Озерам подплыть к Милуокам.

Тут и у ока — для колбочек донных — улов:
черные дыры в лазури...

К ним, леденцовые, льстятся
зеленые волны-лизуны;
лед на просвет полурозов и полулилов.

Кто паруса расписал — свинари ли, свинарки?,
(визг поросятчий для глаз), —
краской свирепой и флажной,

для влажной прохлады, как раз:
синий со звездами грот, полосатый спинакер.

Да не осудят регату Дюфи и Вламинк!
У цветowych какофоний,
у белосытых берез

и ковровых газонов на фоне:
торты азалий и клювы магнолий-фламинг.

Да, ничего Мичиган, моложавое море,
давняя встреча вождей —
тоже, впрочем, пернатых...

Здесь даже размеры стрижей
вшестеро пуще. И все тут в ажуре, в мажоре.

Есть и куда заглядеться — в каурий накал,
в истинно Милые Оки,
чуть виноватые — мол,
далеко мы, но не одиноки...
Я их неблизко, зато как надежно сыскал!

10. Полоса пустая

А бывает и озера — нет.
Ни воды — ничего.
Кромка берега — край ойкумены.
Ни-ко-го.
Лишь по важенке стонет ревун одиноко.
Отнюдь не маяк — гамаюн.
Сухогрузку зовет, изнывая...
И — ни красок, ни слов.
Тени — в нетях. А небо? И — дно? —
Не видны.

Только стонет ревун.
Никуда ниоткуда не деться.
А индейское море ушло.
Ныне — там, где пернато-разлапые,
с томагавками, души,

тянет ноту ревун,
алконост ластоногий, несносно.

Где мы, что мы?
Да что там,
куда там —
туман.

VIII

ОТЕЛЬ

Вот это облако босое
и белое, как царь, как Одиссей,
над кукурузою и соей
уже доплыв досель,

до саблезубого Чикаго
(а небоскреб —

что сахарный мосол),
на морду озера, — ни вата, ни бумага, —
наплюнулось, и все...

Исчезло? Нет, — сгорает однобоко:
накучерявлена, одна щека горит.

Его убудет ли у Бога, —
останется отель у города Харибд,

что так и гложет лакомые туки,
высасывая мозговую кость,
шикарный хрящ

архитектурной штуки...
Пахнуло вдруг, и пошатнулся гость.

И пыхнуло: не хватит ли кондратий?
(О, только не сейчас!), (не здесь!)...

Но то, что пирик пройдет:

о нет, и нет, в квадрате!
И — не надейся..!

А — дюжиною воспаряясь лифтов,
на семь частей распятерясь
в разнонаправлено-разлитых
пространствах, — выйдешь ли на связь?

и поневоле в том

как бы и ты — виновен...

А — как? Да и: кому сказать?

Встал, выключил муру...

Темнело.

Под потолком просеребрился мотылек.

И судорогой точечного тела

он что-то пепельное прочертил

(как бы... изрек?).

Откуда — моль?

Хлоп-хлоп, но мимо...

Вот-вот, и тут, и — там, и — нет в момент!

— Не трогай! То — душа,

что только так и — зрима...

— Посмертно, а сорвал аплодисмент!

Март 1986

ЖИЗНЬ УРБАНСКАЯ

1.

Приезжай! Здесь, представляешь: небо,
где шаров и баллонов — что облаков, —
напавлинено к Пасхе. Да и — треба
потрепаться о жизни, где я таков.

О незванкой. Не потому, что «не звали».
(Звало все: даже сам запрет,
и сезамы, и сальвадоры дали...)
Но потому, что Званки-то нет.

А есть — иное. И надо: из —
(маленькая, как прививка, смерть),
и — по аглицки... А ты не бойсь.
Живым, и — на Тот Свет!

И: за-; и в-, словно глаз под веко, —
на прогулку гулкую за кордон.
Америка — это библиотека.
Два берега. И — мой дом,

Где мимолетом гоняют кроссы
полуголые ангелы, и: гули-гули
о том, как фиалки да крокусы
листки порасстегнули.

Посреди кукурузного океана,
в середине Мира, где пуп, —
графство Шампанское (да, так!); Урбана;
и, — сердцем ткнутое: тут.

Тут. Потому что досюда — дойдено.
И — в тутошнее вбычилась ось.
А если Воля — не там, где Родина, —
так даже бабы, и то: не нашлось...

Да простят меня любо-люды и милы,
я ведь верил вам: ваво- и юле-веры,
и вы были со мною милы (в июле).
Но встречной, увы, я не увидел веры...

Вот «про это» я тебе и толкую:
— Женя, найдешь крутопопую
пуэртиориканскую эдакую, такую, —
вдову протопопову...

И — в Минехаху, а то — в Кикапу,
в Пивуоки, в Чатанугу с Чучею,
на чувачную — ту, что по броду — тропу:
по раста-барам тебя попотчую...

А в полночь — банальней, чем Травиата, —
у поэта (за это!) попросят автограф
только на чек... Да, в тридевятом:
кто с шампанским, тот граф!

Но. Если Москва бьет с носка
(для тебя это отнюдь не эврика),
не расслабляйся и здесь пока,
ибо — мордой об стол — Америка.

2.

Осеняемый кленом и ясенем,
он стоит, небольшенький, да мой,
что моим рас-шампанским сиятельством
называется: «дома», «домой»...

Дом... Не даден двубортнейшим дядею,
а: недвижимо-собственный, свой.

Он и в Званку тебе, и в Аркадию
обращен и сядой, и тудом.

Да, и труд, а и жоржики-денежки,
и долги, да какие (ништяк!),
без которых не дернешься-денешься...

Я — так точно. И тост натошак

так и просится по-Северянину:
в луны — выдави солнечный джус!

Веком заживо посеребряемый,
ничего, — моложавлюсь, тожусь.

Да и сколько бы лет ни урезано:
только с тысячью — вместе на слом!..

Жизнь такая интелектуальная, —
люб любой: или день, или дом.

Урожаями грузно-беременна,
с полу-мельком японских тойот,
здесь кругом кукурузная прерия:
— То ль не любо, товарищ койот?..

Иллинойщина — вот она, вотчина,
край початочный, как при Хруще...
Наша с Лялей: Урбано-городчина,
рай шалашный — и так! — вообще.

В смысле: в этом смесительном таборе
все овамо и тамо, — путем...
И кибитка моя — комфортабельна.
Средний Запад. И я тут при том.

В купках гинкго и вкупе с секвойями
до чего же мне нравится свист
кардинала за мягкими хвоями:
преподобен, а как голосист!

Попахав это поле страничное,
хорошо: деньги вкладывать в фост;
стричь лужайку, где смотрит придиричиво,
как в мундире инспекторском, дрозд.

И зверью тут — лафа, жированнице;
всякой твари — по паре, всем — дом.
(Братец кролик, а прав добивается:
забастовками, что ли Судом?..)

Хорошо: колесить, куда хочется,
словно геммы, глядеть города
(кроме бывшего хмурого Отчества)...
Погулял, и — до дому. Сюда.

3.

А если Вену, Рим, Берлин или Париж
ты сходи про: фу-фу в воздушном перемахе,
то это место — здесь, где оду ты родишь, —
американский супермаркет.

Что да, то да: дают... Дрозда, и вообще!
Вот это — торжище, до горизонта — снеди:
Хеопсы разных блюд, Кавказы овощей
под блюз, и в мыслях об обеде.

Обрызган пырьсю льда, курчавится летук;
пучками рдятся бело-пыпочки редиски;
темнозелено-жгуч, и злющ, и связан: лук...
Не оду — ты, а сам: родился...

В мороз, а и в жару всегда прохладнопуз,
то — оклубничен, то — в картечинах черники,
с пупами-дынями здесь бабится арбуз.
Ему и козыри — не пики.

Не вини-kozyри, но кстати о вине...
Все серебро в Шабли, а золотишко — в Рейне:
калифорнийская лоза, она вполне...
Сама ползет в стихотворенье.

Как с нею хороши: креветок нежный хрящ
и жирных устриц слизь, что спрыснута лимоном;
с кедровым ядрышком форель: поджар хрустящ,
а мякоть — с розовым изломом.

Там пальмовы сердца секутся на куски:
где спаржи пук — Шекспир, а Пруст — ростки фасоли;
и Джойсом артишок: то иглит лепестки,
то с маринадом расфасован.

Вот лазают в воде чудовищный омар,
а, скинут с кипятка, зане прекрасен витязь,
что — красен, и в броне. Крушите, стар и мал,
с топленным маслом насладитесь!

Вон кружка: бок в росе и пена набекрень, —
отрадно-горек Пабст, и Огсбургер, и Пильзень,
Колбасный арсенал, ветчинный потетень!
Копченых дрынов полный список...

Но если угощать — тогда в 2 пальца стейк,
и — 5 минут на сторону — на гриле...
Прости мой англицизм, — я точно не из тех,
кто б волапюком говорили.

А просто слов таких «в забавном слог» — нет.
По-русски ли сказать: «бифштекс» и «на мангале»?
И прыщит сок мясной, когда мы с Каберне,
а то — с Бургундским налегаем.

Жизнь в общем удалась. Плесни на дно коньяк,
давай расслабимся... Теперь стихи попросим
друг друга почитать. — Полцарства за коня,
за папиросу б! Да курить я — бросил.

4.

Кто отхватил сии: и земли, и стада?
Аэропорт, отель, театр — кто заграбастал?
Кому принадлежат сады: туда-сюда?..
Ты прав: маркизу Карабасу.

Ему: и даже тот за дальним полем лес...
Его — издательства, и зданья, и газета;
его и ловкий кот, что в сапоги залез:
маркиза Университета!

И даже я, его с проплешиной вассал,
взял гереческое «Пси» и жестом «Тэту» кинул,
Орфеем эдаким, и оду возбрыцал,
урбанистическим акыном...

Что вижу, то пою: зрю — Университет, —
луг — и студентами вокруг запестрелый кампус.
Кто — с голубым пером, кто в тоге, кто и нет:
афро-корее-инде-канцы...

Чему учен, учу: с 12-ю моих
я под пятнистым и развестистым платаном
витийствую во-всю. И вместе русский стих
мы расплетаем-заплетаем.

Не чудо ль, что среди венеро-марсиан
«Соседа Котова» сужу я по науке:
вишеслагателя, цензуры — где изъян?
В России бы не зрели буки.

И вот — 12! Бьет раскатистый курант.
Ланч-переланч. По мне — обед книго-червячный.
Пустеют поприща.. А я тому и рад,
что труд и ячневый и вящий.

Библи-отеческий, иначе говоря.
Читаю здешние, и ваши альманашки,
где тужится поэт, лирически буря
бурят. Но хороши и наши...

Нет, хуже. Потому: рабы наоборот
(зачем уехали?) оттискивают в книжки
все фобии, что в них копились наперед,
сперва нагревшись на костришке.

Им и Америка — страна зубных врачей,
а о родной дыре — лишь в терминах анальных...
Захлопни альманах. Заглохни, книгочей...

Осталось 2 строфы финальных.

О чем бы в них? Как льдом позваниваю? Иль
по фене аглицкой гуторю на приемах?
Как под хмельком домой веду автомобиль?
Да тут и всяк — не промах.

А вот о чем: домой. Где спит лобастый карл
с настольной мудростью компьютерного рода,
с просторной ряшкой — электронный аксакал.
Нажмешь куда-то, и — вот эта ода.

1986

ТРОЦКИЙ В МЕКСИКЕ

Дворцы и хижины, свинцовый глаз начальства
и головная боль, особенно с утра, —
все нудит революцию начаться.
— Она и началась, но дохлая жара...

В жару, что ни растет, от недостатка вянет;
в сосудах кровяных — ущербный чес и сверб.
Коричнево висит в голубизне стервятник, —
эмблема адская, живосмертельный герб.

То — днем. А по ночам — поповский бред сутубый:
толпа загубленных, и всяк — в него перстом.
Сползают с потолков инкубы и суккубы,
и мозг его сосут губато и гуртом.

Опять напиться вдрызг? Пойти убить индейца?
Повеситься, но как? Ведь пальмы без ветвей.
Да из дому куда? А — никуда не деться:
поместье обложил засадами злодей.

Те — тоже хороши. Боялись термидора,
а бонапартишка — изподтишка, как раз, —
(как дико голова, и нет пирамидона)...
Французу — Корсика, что русскому — Кавказ.

Но каквою страну, яря сословья,
блиндированным поездом ожечь;
не слаще ль этот рык, чем пение соловье —
рев скотской головы пред тем, как с плеч!

Мятеж, кронштадтский лед, скорлупчатое темя...
...Боль на белый свет!.. Молнийный поток.
— Что это, что?.. А — все. Мерцающая темень.
Жизнь кончена. В затылке — альпеншток.

Декабрь 1984

ВОЗВРАТ

Рахманинов играл, Шаляпин пел.
Какие титанические люди!
— За милых дам! За Мира передел!
И голова Крестителя на блюде.

Немая мысль не шевелила уст,
лишь поднимала пепельное веко:
о явной смертобойности искусств,
о Зле и о явлении человека.

И розовели зори и дела.
Но гибель предреклаась для полу-Мира.
Когда б рябиной Родина была,
то у корней лежала бы секира.

Шаляпин пел, Рахманинов играл...
Зачем их не заснял кинематограф, —
раскрытый зев певца во весь экран
и пальцы пианиста, прыть которых

враз искресала радугу из люстр,
за звуками все зло заиллюзорив.
А бас, а Зороастра — златоуст,
то бархатно-лилов, а то лазорев,

свободно плыл по попранным полям,
где топотно и потно убивали.
Разваленную тяжко пополам,
страну спасет ли ария? Едва ли.

И где он, горла певчего удел,
где своды, подпирающие нёбо?..
— Ираклий, шел бы к чорту, надоел, —
несется осязаемо из гроба.

Ах, Франция: увидев, — умереть!
Усталому сладка твоя земляца:
как на перине, в ней отрадно преть,
и прах супруги рядом пепелится.

Здесь тиховейно спи наверняка,
знай, тлей себе в могильной тайне, в Бозе,
покойся, забывайся на века.
И что властей? Смертей уже не бойся.

Как бы не так! И вдруг: туда: труба!
— А ну вставай, проклятьем заклеянный,
проклятьем славы и клеймом раба,
принадлежи отныне миллионам.

Бери свой прах, но выбрось прах жены.
Ты не воскрес, довольствуйся субботой,
зато ошибки: будут прощены.
Работай, труп. А ну живей работай!

Ты — наш, и не поможет флажок.
Мы — до скончания времени. Ты тоже.
Французской пломбой скалится скелет,
а будущее близко и дотошно.

Май 1985

СВЕТЛА...

Узлистое семя тирана,
кремлевский воробушек, дочь,
спросонок, босота Светлана
порхнула из форточки прочь.

И — в мир, и — в миры, в измерения!
В иное и новое, вон.
Туда — за моря, в замиранья
себя — за собою вдогон.

Но там, на Луне, в деревенской
комфортно-стеклянной глуши
в подушку уж не доревеется
до ближней 100-верстной души...

...О нем голодается остро,
друзей нехватает до слез.
А эти глядят, как на монстра
опасного, но не всерьез.

Ах, как бы они лебезили,
когда бы им — бешеный кнут,
чтоб знали! И — выблеск бессилья:
был папа оправданно крут.

Секомые знают и помнят,
мимически полно молчат...
Назад — в это логово комнат
до жарких и душных волчат

своих, чтоб вихры теревить им
(дадут ли, седые, теперь?).
В кремлевскую мать-обитель
взахлоп для воробушка дверь.

Для рыси орлецкой, для тигра
ужель не найдется угла?
Пока свой конец не настигла
царевна в опале, Светла...

2 февр. 1985

РЕКИ

Часы поставил по Большому Бену,
и тот отбил увесистый о'клок,
заезжему (тут все равно — нацмену)
настроив слух... Чуть не оглох.

...Вестминстерским и министерским боем
с подзвучием зубчато-золотым...
И вздох колом, и площади покоем,
по коим носишь, неприкаян,
за пазухою — Алатырь.

...От пращура наследный камень, —
как выкинуть? Куда? — Вот и Нева...
— Окстись, тут мимо Темза протекает,
ты не на тех берегах, образчик меньшинства.

И, всматриваясь в эти мути,
предтечествуй, припоминай, предвидь.
Какие плыли крупные минуты,
и — ничего; и новые минуют;
а были псалмопевны как Давид.

Но — выпало на кон: 2—3 заката;
в пыланьях — вся река, по самый парапет...
Гналось: туда, еще за мыс, где как-то
судьба исполнится. Но нет.

...Входил в прохладные соборы,
и в усыпальницы, и в спальни королев;
решали тиды, искоры-споры, —
куда кидать (напра-, налево?) взоры...
За мзду туда пускали, обнаглев.

Но что помимо черни, это: реки,
текущий вывих двух отдельных Двин,
потоки памяти, которые, как рекрут,
форсируешь один.

Вот Волга... Смысл? Ведь — был, да вышел:
фазанами мазут, пейзажами народ...
Бетонный стоп воде; нет монумента выше:
— Умри за клок земли, пусть он загажён,

выжжен! —

плотина-Мать на осетра орет.

Он — оземь из воды. А было: люд — на гибель
во имя имени... Или — имен? Имян?

Навороти любые тлыбы, —
все в прорву унесет река времен (времен)...

...Как Моцарт сочинял в скрипучих зальцах
солнцестремительный клави́р
и вниз в колбасную бежал отведа́ть салы́ца,
(так и летят из Альп Изар и Зальцах,
зеленоструйные), и ноты не скривил.

Не то — иные... Он величия не ищет.
Гнездо соловье держит детская рука,
сперва касаясь крапчатых яичек,
и клавишей потом, или смычка.

А в наши мути-памяти вместились
Куры и Тибра мели и прыжки,
Гудзона черный блеск, меандры Миссисипи
и Сена серая, за то и всем — спасибо:
закрой глаза, и — у реки.

...А с Эйфелевой верхоты — и вовсе
до невских кронверков и шпилей — напрямиком
2160+8
последних километров. Хоть пешком!

Но сердце белое Монмартра
и холм предсердья — заслонили взгляд.
Туда — наметил я на завтра.
Взобрался. Дождь полил внезапно,
в минуту все смешал: Восток и Запад...

И я пошел в гостиницу назад.

Ноябрь 1987

ГОРОДА

Полузатопленный загнивший Петербург
и Загреб чопорный и черепичный, —
какие города! Какие — вдруг —
живые черепа и котелки для пищи,

для пиршества, для нищенства, и торше...
Такие города, как шляпу, протянуть,
глядишь, и обронит волшебный грошик
негоциант, колдун, крылатый кто-нибудь.

Есть горе-города, есть города-гордыни,
они скребут мой череп изнутри
крестами, башнями, что в них нагородили
святые зодчие и плотники-цари.

И я там хаживал и сиживал, бывало,
в том наи-самом (что уже — клише)
кафе, где все бывали, у бульвара
в Париже-празднике, и в Лондоне-левше.

Там, как из цедры сок, так цедится минута,
в любом из них прожить всю жизнь бы! Но —
одна и коротка. И крепко перегнута,
И — чуть не пополам. Такое вот кино...

Мелькают в нем расплывы, перебивы,
мчит опель напрокат, конек-возок для двух...
— А те старушки итальяйские, чи живы
на пьяццах у скульптурных деревьев?

— О чем они тогда, чуть мы — за угол?
— Какая разница, а если и о нас?
Рим, например, был мне подарен другом
так, просто ни за что, в хороший час.

И я ему в ответ — вьюном увитый,
весь в разрезных гвардейцах, Ватикан
желто-лиловый... Там его правитель
на языках при нас Глаголу потакал.

А вот Венеция — сама, туман отдунув
с лица, дарила дождь, как дарят поцелуй, —
и грима не стерев, мол, и не думай,
бери, что дали, больше не балуй.

Любимая! И в горле — ком от счастья.
Сейчас я Плитвиц плеск тебе дарю,
где струи без числа журчат, летят, сочатся...
А мне бы — только храм на рю Дарю.

Там так настраждено (а внутрь зайти не вышло),
намолено изгнанничеством, там
накажено, поди, до клироса и выше —
все по российским весям-городам...

Из них, так и не взят, один остался Китеж.
Тут и соблазн: а если Китеж — Кремль,
то что тогда? Исполнившись, какие ж
извечные мечты увечатся, и кем!

Есть города-голгофы, но без Бога,
есть города, где гроб туризму напоказ;
как яблоко, Нью-Йорк, что грыз я; грудь-Гаага,
где не был никогда, но в следующий раз...

Зато у Майи в тропиках: — Гляди-ка, —
до неба паперти, так и зовут — залезы!
И я туда влезал, а вниз — и думать дико...
В мозолях каменных весь город-мавзолей.

Но старосветские милей мне будут кручи:
Дунай — Денеб, из Буды вид на Пешт,
и вид обратно... Вдруг: мадьярский кучер,
и опелю капут; я снова буду пеш.

Мы, впрочем, с городом помиримся в июне:
одетая водой, глядела дева! вслед...
Расстрелянный фасад с балконом — наша юность,
сочувственный мятеж, плащ, автомат, берет.

Фасад в избоинах, раздавленные жесты, —
такие города встречаешь, как себя,
как сверстника тех лет, самосожженца:
— И, свет сильнее жизни возлюбя,

ты, Прага, все горишь, свечами оплывая
на площади среди других святынь!
А нищий лебедь кланчит каравая,
и острогой на всех замахиваясь, Тынь

торчит... Пора, — отдав поклон великий
мостам и рыцарям с марининой горы, —
туда, где Вена взбила каменные сливки,
гульнуть, где столь крылаты алтари.

Нам путь укажет бронзовый философ,
заметь: не полководец, — верный путь,
но я устал. Домой. Пыль отряхнуть с волосьев,
при перепрыге через океан вздремнуть.

— А этот город — что? — Чикаго... — Градозавр!
Слегка трянуло. — Слава Богу, а могло бы...
Вот и Урбана, где пишу, где взял
да точку и нанес читателю на глобус.

Август 1990

ХОЛМЫ ИНЫЕ

Гор не было. А были взгорья.
Скорей — холмы...
И электричку не святой Георгий
прокалывал из тьмы.

С Финляндского, считай, вокзала
она, скорей сама
стреноженную тьму пронзала,
и — стенала тьма.

Морщило сырым и бурым
огнем — окно;
луч по нахмуренным фигурам
плыл розово-темно.

И, хребтом дракона,
рукой подать, а далеки,
назад скакали заочно
то Кавголово, то Юрки.

Дух влажной шерсти, нет — витони,
попахивая, плыл,
и пол в полупустом вагоне
передавал моторный пыл.

Хотелось: лета на пригорках
среди курчавых рощ
в овражных Мустамяках, Териоках,
чтоб хрущик сел на хвощ

Там — пропащую подругу
надеялся найти,
жить в бедности, снять в доме угол.
А все — не то, не те...

Нашел... Хотя — потом. Хотя — другую,
сам за моря уплыв.
Стал вроде гуру:
совсем заважничал, увы...

Но, проезжая Массачузетс,
остановил кабриолет
на миг. И, вглядываясь в чужость,
установил, что в мире нет

того, что не случилось прежде.
Все — было. И — холмы,
и та же в них надежда брезжит,
и брызжет свет из тьмы.

Хребет земли, зубцы дракона,
пригорки и бутры,
где листвою кучерявится дреколье,
и тянет прочь из игры.

Неужто повтореньем тошным
в следующем краю,
и даже за — увижу то же:
в Аду, в Раю?

— В Радо-Аю!

Май 1988

IX

ТРИ НОКТЮРНА

1. Ночь Иллинойская

Не вечер: череп дня, и месяца, и года.
Повысыпало звезд, а Сириуса нет...
Но вылез Орион. Он в яме небосвода
запястью мертвому наблещет на браслет.

На целый клад, на склеп и труп насветит
владелице нагих над нами нег,
Америке небесной, где все эти
понасорили скопом на ночлег, —

сюда сойдясь, — цари, чудовища и птицы,
намусорили — чем? — своими же костями...
И Хартию таких, как подписи, петиций
шлют кверху, ветхие ночами и денми.

Их смерть нежна, напоминая вечность
и даже чем-то — жизнь.
Развоплотясь в лучи, расчеловечась,
взошли... А вышло: это ж низ.

В овраге воздуха — сокровища и падаль,
а вот и — Сириус (как мы сумели без)
берет свое сверло, гробокопатель,
и выковыривает из бездн...

...Минтаку, Альнилама, Альнитака
(аль в списке что-нибудь не так?)
он посвящает ей, чуть выпуклее мрака,
красавице, чей светится костяк.

Ее — по рыхлой черни — оттиск торса
с хребтиной Млечного Пути
сияя судорогой, к полюсу простерся
уже неплохо за-полночь, к пяти.

По жилам, но не кровь; — долготы льются;
в торосах — ледовитая рука;
приподнято плечо Аляской алеутской
черно-прозрачного материка.

Сосцов ее: Соединенны перлы,
(верней, разъяты) в крапе звездных карт...
Их полушария с ложбиной прерий
кладоискателю и — открывать!

Он бы готов распеленать початок,
но это — Юкатан... А там, на страже тайн —
Плеяд стожарые печати...
Хотя и узок, а закутан стан.

Стан узок — статны в тех широтах бедра,
где слишком Южен Крест,
где самая-то Амазонка бреда:
предутренних и мутных грез.

А ей — пускай; все это — можно...
Вот и Дракон обвинил веретена
чилийских голеней. Скалиста ножка,
что трогает: студена ли волна?

Извне мерцая нам (неужто мимо?) — стелла:
земное, впитывает прилипанье глаз...
Они — ее заляпывают тело.
На то и жизнь — космическая грязь!

...А встала, ясная, зарозовела
и в голубое мясо облеклась.

Апрель 1989

2. Затмение

...И днем приходит гневное, ночное,
клокочущее: — Что-то тут не так, —
неправедно, неверно учиненно!..
От человека — тень, от света — мрак.
От птицы больше остается — в Бозе,
где вьется визг, и свист — широкоуст;
но здесь летун лежит в парящей позе
и в оперении, а череп выпит, пуст.

Я этого стрижа в сияньи вижу, в нимбе
вкруг мертвой голой головы.
И меркнет небо в полдень, ибо
он — весть о всех: — О горе нам, увы!

Он карликом, летучим нибелунгом
себя лучистой гибели обрек:
на солнечный пойдя осадой, лунный
свет застит свет, а льва — единорог.

Но те-то там, тотемы, зодиак
и светочи очей, а тут, смотри:
не то, чтоб гром, не то, чтобы во мраке,
но нечто тихое увечится внутри.

А что и вне, в на целый Свет размахе,
в пространстве душится глухонемом, —
так это давится душонка в страхе,
и ежится ее крылатый гном.

Он, видно, и лежит по-околу от окон
на белом гравии (догадкою ожгло),
что мчал от сумерек, и с гиком, и к Истоку
сверкающему, — а влетел в стекло.

Сентябрь 1989

3. Комета

Кто световую арию поет,
как бы лучом крича, и даже резче, пуще —
кто Солнцу-льву заглядывает в рот,
о небо личико расплющив?

— Да, это та, которая, в кой век,
из галактического фарса
влетает как-то каблуками вверх,
неважно, лишь бы не сорваться.

Всей гривою огней — назад, от скул —
с какого блеска этот слепок,
которому планета, что — ау? — аул:
скопление искр, гнилушек sklepa...

— От неотмирных тех звезд-богов,
что числятся вверху под номерами, —
дошвырнутая весть, взглядо-огонь,
сестра тому, кто в камне умирает.

Он вправду гибнет, человеко-град...
О, если бы в секунду световую
миг мрачный обратить, пустить назад,
гранитному, не дать исчезнуть вскую!

Ведь мы вошли, как известь, в мысль о нем,
в те несколько фасадов, 2—3 шпиля,
взывающих: спасти. Не то — спалить огнем,
к нему весь мир пришила.

А тут-то грудью и в — не знаю что — кишлак,
в полуподвал, в подслеповатость Рая,
она выматывает пук светящихся кишок,
себя о сорный воздух раздирая.

И леденит извилины сквозняк,
в умах напечатляя мету,
опаснейший хвосто-крылатый знак,
зрак мрака, самопальную комету.

И вот, мы ждем: с уже заумных сфер
сошедшая для дела злого,
жуть-птица, полу-Люцифер,
не свалится ль огромным словом?

Да, свето-воплъ, и — тоже — пыл,
и вид, внезапно грянувший и грозный, —
пророчество о нас:
— Мы — пыль,
пыль, ставшая на время грязью.

— Все тусклые, мы перетремся в смерть,
по делу нам и почеть, да и впору...
Но будет впрок: после-последний свет,,
когда орбиты рухнут в прорву.

Проглотит медленно-немотный взрыв,
и всех, и вся, и деву-взрывоносца,
пустой припухлой вечностью покрыв.
Но с надписью «конец» она вернется.

Август 1989

ЗВЕРИ СВ. АНТОНИЯ

(бестиарий)

1. ИСКУШЕНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

Сидит себе опрятно-бедный старец
и на обыденный, его не видя, Нил
глядит, — в прострации уставясь
на глубь, где клубится гниль,

на грязные струи...

И видит: к ним отвесна
из сердца ввысь и — в синеву — тропа,
Отцу стремимая: — Ответствуй!
Поток поставлен на попа

вдоль той тропы... В — иное небо,
сквозь череп из черев до Райских врат:
Нил духа, Ганг любви; Инд уединений,
Тигр горней радости; торжеств Евфрат...

Глядит аскет из мозговой пещеры
в сплетенья светлые, в крутые высоты
рек столбовых; зрит Силы, Сферы,
берег опрокинутый; себя у той воды...

И — тянется к нему (себе же)
и хочет молниями с ангелом играть!
— Но тот крылат, а ты — душою — пеший,
ты — только грань, а тот — ее карат.

Тогда — навыверт знания и зренья,
иссеклась мысль — во: в небо бьющий Нил.
Но мутнышко заядло в ней созрело, —
пузырь безуминки, и чуть: чернил.

И в глаз вошла заря, а в ухо — петел;
его: трех отречений кукарек...
Как дверь с петель, ум с вертикали спятил, —
святого — смыло, выплыл человек.

Творцу подобная, во все воткла бродило
богосвидетельская тварь
и круглышком Нуля вдруг породила,
творя таврически, —
зверей — плотской товар...

2. ПАНТЕРА

Какая чуткость, мощь!
Курчав лобок, —
особенно, когда он первым потом пышет...
Особенно, когда не первая любовь,
но: опыт у любви любовью бывших...

И — жертва, но — допрежь
и пуще — госпожа.
Царица в золоте, и наготе, и пятнах
ползущих лун и солнце, возлежа
среди ароматов невероятных,

ее дыханием струимых,
среди
тропических просторов
она влечет сердец
живую снедь...
Счастливым — смерть.
Таков тигрицы нор.

Подруга всех, но этот нрав
опасен ей самой —
не розни: блазни
притянут недруга,
и встрянет враг:
дракон причудливый и безобразный.

И от кого?, кому?,
и — не усторожить;
в блаженном, сладост-
нейшем чреве
она вынашивает смерто-жизнь:
подобие себя же
в виде дщери,
такой же коготной, как рысь,
(и новорожденной, но столь же властной),
что — из растерзанной утробы,
из
кровавого влагалища вылазит.

3. РЫБЫ

Медленно-окие, плавные,
пятнами яркими плавая
в плотной и плавкой среде,
реют без тяжести
в кубе прозрачном
и будто бы призрачном,
как бы — везде.

Лунами полу-зелеными,
глубями, водными ложами,
солнцами, полными звезд,
иглами, —
блуждается
наглоатавший куст,
как парчевый лоскут...
Это: плавают рыбо-медуз
головохвостый лангуст.

Легкие, ставшие чешуей,
золотое по телу шитье,
и внезап-
ное вмиг и назад
боковое проворство;
скок; и — брык; и — вдруг прыг:
брызги порска...

И — в простое;
в просторы летит: в облака,
на соблазн то ли воздуха
то ль моряка,

жабрами жажда ветра, —
рыба,
сквозь радужных туч
мокрого Мира и Света.

Наблюдателя: в небылое: увод, —
гипнотический вывод из вод

в нежилое; в — иное
тех, кто волей-неволей
вниманьем виновен,

душ уловление;
вывих невзгод.

Красных рыб:
пустоты пережев,
полный рот.

Тяжесть.

Грани пространства...
Дико-бездумно. Потрясно...

4. ЗМЕИ

Не видящие неба,
невидимо
шуршащие в траве,
шипящие шавелево из ямы,
как их ни бей по плоской голове.
Мы все их жертвы: авели, адамы...

Любое людское «Я»
для них не более, чем пятка,
которую они, враги, разят,
впрыскивая пароксизмы
рвотного припадка,
черные узлы окочененья —
яд.

Смерть, даже чужая,
заостря знанья
(голово — глагол им не велит —
они не тронут),
и —
особенно чужая,
возводит извиванья
между и нет
в разума зенит.

Язык
 (единственный!)
они двоят,
извилины, ползущие из мозга,
но вот ведь:
 железы не изливают яд;
в воду — нельзя,
 и невозможно.

Ведь:
 вода
 преобразуется в живую,
а голый — в райского жильца...
Но и на их природу щелевую
есть камень умственный
 узилища, конца.

Для них, однако, лишь начала:
протискиваясь в тесноте,
чтоб шкура ветхая
 изношенно застряла,
прошивши смерть
 (свою),
они уже не те...

Но — юные,
 в красе орнаментальной,
плюют, летают,
 жалят, давят,
 глотают, травят,
 вымена сосут,
совокупаются
 клубами в свадьбе свальной
и яйца с кожаной скорлупой
 несут.

5. СЛОН

Громадно-мудр,
 как Библия...
 При этом:
огромно-непомерно-уд!
мослы его сырых
 колеблющихся груд
подобны глинам
 разогретым.

Племянник Мира,
 чуть-не-Гильгамеш,
приемыш и свидетель ноев,
но и: теля-телей;
 в родство его свиное
ты не поверишь ни за что,
 пока не съешь...

Нога столбова,
 а на вкус —
как бы чудовищный цыпленок, —
детинец в каменных пеленках...
Рот обжигает не размер,
 так укус.
 И — укус.

Тяжеловесам жить: легко?
 — Лы!..
 Но оба
с домоподобною подругой
(а — башня прихребечена подпругой)
бредут, любовники,
 в чаду, в бреду бок-о-бок

до тайного межгорья (сами горы),
к поляне сладостной,
 где лес курчав, —
там, бивнями бия
 и роясь у ручья,
он имеет человечка мандрагоры.

Как тот заверещит, зеленокудр,
оранжевую кровь
 прольет, невиноватый,
так воины из башни,
 спешась (аты-баты),
хватают хоть бы: пса,
 чтоб — горлу перекрут...

Она, потупясь, ждет.
 А он — жрет корень,
дабы супруге недра взрыть...
Ей достается плод.
 И — прыть:
плодить, покуда есть такое:

возрастающее:
 вдрызг:
 и — взбынь!
 втемяшиванье тесное
 меж
 лядвий;
 откры-
 тие
 чудо-
 вищное
 в яви:
 — Раз-
 двинь!

6. МУРАВЬИ / ТЕРМИТЫ.

Что за пупочки, пипочки, точки,
 много точек?

Гранул патриотизма,
 молекул возни и грызни,
 мириад миллиарды:
 грядущих и тощих?

Но — и:
 будучи буквой,
 буквально ничем,

одни —
 днем
 гомозят

а другие
 ночью
 грызут,

 громоздят
 аут,
 анти-уют:
 Государственный Рае-Ад.
 Роют, лепят,
 что-то все время несут,
 из плевков созидая космический кокпит кают...

Корабля Смерте-Бессмертия
 псевдо-природо-научную
 кучу.

 Копят, копают
 и мелко-но-много надрывно и часто снуют.
 А — молекулы — целое значут,
 жом и жев полицейский
 и — впрыск леденящий в брыжейку и нерв, —

парадокс,
но
означающий лицевой паралич
для живого консерва;
кома;
покуда не скажут:
да' будешь нынѣ снѣдью,
что будет нами ядома...

Эти — храм
по жаре
вылепляют

Те — дом
по ночам
пожирают

созидаая грозя,
угрызая друг друга — доходяги, подлизы
сосут грандиозную гузку,
по существу: экскремент,
тот, что небо симметрий скребет,
генеральный сакральный сексот-секретер,
секретарь
коллективного цезаря,
матки-царицы,
сортирный алтарь.

7. ЕДИНОРОГ

Зверь зверей,
и — выше человека,
и — главней слона:
и ни козел,
ни конь:
белой челкой
чуть прикрыто веко,
и — торчит — такой
рог витой в надлобьи,
золоченый,
привлекая дев.
Почему?
Да потому, что чары,
потому, что крупный и крученный
раскрыватель чрев.
А и он — приважен — потому же:
что:
приманка на крючке...
Ну и — пусть!
Но ей же и на ужин
он копьѣм насквозь проужен,
и ловец по-подлому учен

музыке и рыцарству,
и танцам,
а по-правде: тать;
да и как украсть
не попытаться,
если попытать
деву-недотрогу сделать дамой.
Распалив камин,
Распалясь, но и расслабясь,
дома,
так удобно
вставить клин.

8. ПОЖИРАНИЕ МАМОНТА.

Ешь хобот у носа —
как будто креветку хрупаешь.
Выше — омар.
Сто улиток в ушах.
Бок, пожалуй, гигантским бараном
в целом отдаст.
А крестец — это «нечто»!
Кровь. Кровь. Кровь.
Бивни — пики, а кости — балки,
и шкуру — на крышу.
Смерть, конечно, строитель.
Но:
худо ли, бедно ли, — можно так жить...
Юшку сбраживать, пить,
в ритмы бабахать,
в — тазы,
в — челюстя,
в — черепахи,
в свои же,
свои черепа,
напролом,
наконец.

9. НОЧНЫЕ БАБОЧКИ.

Язык молящегося — языку подобен
свечного пламени в ночи.
А пламя — темени, —
над ними нимб и обод
светают, видимы почти.

Особенно, когда комками
(тьмы — в свет)

швыряет оборотень зла, —
куски цветут: пылью, мотыльками,
помадою; несть им числа.

Вернее, легион: им — имя.
И каждый порх (и верх,
и низ) у них пригож.
За полумаск-ами, срывани-ями,
толсто-напудренное личико найдешь.

И — мушку на щеке. У рта в углу, у губ...
На шее... На — бери!
Какого берберийского суккуба
она бы выказала у себя внутри
Но — нет у ней нутра: лишь трепет
Лишь — взгляд.
Фитиль молящегося
только ее и теплит
срывающийся чад.

И только тьмы нутро
черно и красно,
и слаще грязи нет.
Как смерто-жизнь, заглатыванье глаза
чужими веками:
вклю-вы-ключает свет,

что гаснет, пыхая чуть-чуть во чреве
у черной радуги;
в плотской лощине...
А толсто-шевелиющиеся черви —
в конце концов,
ее красы
лярво-личины.

О, ради тех зрачков,
их иглового мига, —
все до хребта: свой хрящ и костный тук
скормить,
сложить с себя
родного Эго: иго.
Самопотухнуть: — Фуки!

10. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ЗВЕРЬ.

Ты, скажем, погружен
в стихи Саади.
или в молитвы словеса златые...
Но, готовый прокусить тебе затылок,
он дышит сзади.

Не оборачивайся.

Не то: он взял!..
Ты сам его растишь из собственного страха:
он крыса: а вот уже и россомаха;
вот — саблезубый завр.

И: хруп и хруст грызмой хорды...
— А клаци челюстей?

— А скрип кольчужных мышц?
И — сердце бедное, как мышь,
не пик — не ёк —

забившееся в аорты...

...Особенно, когда безумие,
как Обь

без берегов; с глазами бедокура, —
шерстистого (ку-ку!)

вниз головой лемура, —
что сам же просит перевернуто:
— Угробы!

— Угробы! В том — доброта того, кто злой...
А ты готовься, Мое,

мое Оно, пока ты
сползаешь в хаос, под откос покато,
ломая ногти, набитые землей.

Еще вдохнешь воздушного червя,
и он в ноздрях закопошится;
и бронхи выжрет до трухи,
до ручки копчика
невидимая мшица:
а ежели по Далю — до «чивья»...

Из уха вылезет, и в кружку,
и с водой, с луной
и с полночью войдет, что войско,
в твой желудок,
съест все, и поселится в удах,
боль атрофируя своей слюной.

12. ГРИФОНЫ И ГИБРИДЫ.

В уме такое копошится (как бы робко),
во чреве черепа прозрачное растет
настойчиво настолько,

что кость, картонная коробка,
хотела бы вытряхнуть из-под лба
живой и жирный «торт».

Пусть даже шлепнется,
и что в нем шевелится
среди извилин — да вылезет на свет:
тварь хищно-жертвенная,
звероптица, —
смесь, какой на свете нет.

К примеру — кисть хвоста,
из кисти — коготь.

Из когтя — разрезной узорный лист.
Что это: причудливый автограф
оставил Иоанн ли? Марк евангелист?

Нет, это Зло произошло (а не перо)

вдоль крыльев лирных
по золотому ворсу мышц.

Зло — в клещевом захвате
когтей орлиных

и в задних лапах,
где — мощь львиц...

Клюв, геральдически осклабясь,
кажет

аканфа лист — это его. язык.

И не понять:

да из чего, да как же
этот зверь возник?

Лев ли познал

(или — имал)

орлицу,

дала ли львица ять ей — орлу?

В кощунстве дано совокупиться
как бы — Добру и Злу!

Чудовищные семенные впрыски, случки,
впадение в секс всего и всех!

Несовместимостей влатанье:

в сущий

тотальный свальный грех.

Рык и прыжок, и взмахи золотые
друг друга кроют,
и — плодят, роют
грехи из греческого, из латыни:
с дельфинами — наяд...

Сирены — от русалки и матроса,
кентаврихи — от конского греха
с наездницей;
сдвоенные с крупом — торса;
и — козлоногие ублюдки пастуха:

Антропо-элефант индийский
дикий;
блуд по-египетски:
с собачьей головой
и вздернутой полкой туники.
И — кубистический:
с гитарой молодой...

К тому совсем не плох
славянский грех на шкуре,
чем не одна семья?
Все хороши зело. Но тут не шуры-муры,
когда солдатская жена — свинарка?
Нет — свинья.

Визг...

13. ПАВЛИН.

Засунулся в лазурный ореол
(как у фотографа;
а сам — рахит, урод),
крик дьявола издал,
змеиной головой повел,
неонново-крылатый
индус, полу-креол,
златоцефал,
походкой вора побежал...
И хвост, как ворох ангелов, расцвел.
Многоочитый чудо-изумруд
(из даже райских руд),
живой сапфировый и жирный лал!
Абсурдный аметист,
от индюка с принцессою метис.
О, самоцветный самохвал!

О, роскошью блеснуть, напаялив перья,
все перлы нацепив, и макияж
на рожу кинув,
первым (первой)
брызнуть спермой
анальной, смешанной с пометом,
впадая в гордый раж.

В сокровищах ногами рыться,
быть женщиною, наконец,
в сияющих грехах...
Гляди:
красавица и крыса, —
крылато-радужная бабочка-бабеч.

Но — жилистый под ней
(в ней)
соглядатай
диктует барышне волнующе молчать...
И — уступать:
— Как ты красив, проклятый!
И пра- на левую натягивать перчатку.

14. ПАВЛИН БЕЛЫЙ.

Белее ледников и снега,
белее вечности,
и — юный, а седой,
брат облака, горы другое Это
(зато и камушки в зобу его с едой).

Белей еще чего?
— Сказать не научился:
белее мраморно-аллейных совершенств...
И хвост — пучок из бесконечных чисел.
А тело меловое — цифрой 6.

Но вот: неисчислимо-глазый веер,
великий
тем, что глаза все спят,
что видит он под каждым белым веком?
— Регаты парусов?
Иль: выблески Плеяд?

Сон этот — белизна ль,
 невинность, что не рвана,
не комкана никем, невинность ли?
Или исполненная небытием
 нирвана, —
последним опытом земли?
То ль это — белизна в отеле:
 туалета,
крахмальной скатерти,
 простынных ли прохлад?
Или: в алмазах это
белосеребряный — вокруг себя — оклад?
Все враз... И плюс — прохладный гений,
 иней,
что негда из яйца, проклюнувшись, возрос.
Растает... Потому что —
 мнимый,
а сам — гермафродит и альбинос.

15. ФЕНИКС.

А этот на горе вечерней — вон он:
то не павлин,
 скорей тюльпан!
Скорей орел червонный
лучами-драхмами осыпан-осиян...
Весь красно-золотой...
 Нет, не орел он.
Иль все-таки орел?
 Скорей — кинжал.
С горячим ореолом,
он весь — ожог и жар.
А в крыльях — ароматов сонмы,
 словно
меж красных перьев — кореандр,
лаванда, мускус,
 и масла, и смолы
с кореньями горят.
И ярый, и — один,
 совсем один на свете, —
и царствам, и мирам он видит смерть.
Но 2-жды в 100-летье
он должен умереть.

Тогда, ширя дряхло:

 шире, шире, —
в куда-то из- и сквозь- пускается полет,
до древа Жизни, до его вершины,
где ветвь у Бога он крадет.

И — прочь, бывая хворость...

 Скорость!

Назад, чтоб за звездой текла звезда,
а в клюве и когтях — священный хворост
для брачного гнезда.

На плоскогорьях Аравийских
благоуханные с себя слагая бремена,
он из кремня выклеывает искру,
и веет, и растит ее, и всходит на-.

Невесту с языком дразнящим,
 саламандру
берет и топчет; пламенем распух
и гибелью набряк, —
 но брак их целомудрен.

Не то: не так ли — курицу петух?

Нет. У любви: лишь пыл — мерило...
Не пыл теперь, но пепел... В нем — яйцо.
И — бедами Земля заговорила,
двудне-, двунощная...

 А явится — и все.

16. СВИНЬЯ.

Родина моя, жена, семья, свинья:
 ты, всем хором
спой мне сладостное хрю-хрю.
Весь вместе — наш именитый кворум.
Вот я местоимение и говорю:

Мы — меня приспали с тяткой ли,
 с дядькой,
 а могли б титькой
заспать, как сына меньшого, и вообще.
Я бы и сам себя без остатка...
 Но ты-тко:
схавала, и — кого? — хлебателя твоих щей!..

Помойно-питательных, тошно-теплых...
— А: что? А — какие есть!
Распуститься в расхлябанных толпах
и — пить; спать; есть.

Хлевно, а зато не хуже,
чем на арфе благородный аккорд,
 ей-ей,
даже лучше нахально лежать в луже
обжитой и по-родному своей!

Вылезем — грязными нас полюбите,
а чистенькими — полюбит всяк.
Развелись тут разные —
 быть, не быть ли? —
принципиальные, с призраками на васях.

А мы любим выпить, пожрать
 и это тоже,
и кому каких еще царств?
Шилом ахнешь в подмыш-,
 во вздошье,
а кровь вытряхнешь комками в таз.

Теплую еще тушу-кучу.
что валяется в темной
 от пота пыли,
за под-лодыжки подвесишь на крючья,
и — паяльной лампой пали!..

После — крутым кипятком ошпаришь,
и щетину легко скоблить...
— Извини меня, но она — и товарищ,
и причуд моих чревная сыть.

Тем интереснее с ней старанье
познать ее (плоть это суть):
связывая себя со свиньей астрально,
от самоговерху-низа
 пузо ее полоснуть.

Видишь розово-живое на срезе
и брыжеек лопающийся перепут;
желчь осторожно изъять,
 а потом уже сердце.
И — кишечника душный спрут...

Брезгливо вырвать и выкинуть
 генитали

и
зародыша в жидкостном пузыре, —
то, что девы юные в юности нагнетали
в виде чувствительном,
 при лунной заре.

Здесь — настоящее: бьющие в ноздри
скользкие потроха и мозги.
В них когда-то горели
 обиды-занозы.

В дохлых уже не видно ни зги.

И если даже дальше разденешь мясо,
под ним только череп и пустой каркас...
Возлелеем же смерть как жену
 (гримаса):

— Да буди прорва твоя
 по мне как раз!

17. СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО.

Ты — это я; но ты и тоже — скот:
от лени в крестце
 лишь убыль, убыть...

Казнь — из тебя единственный исход,
но палачом я не могу быть!

Я бью тебя, но больно мне.

— Ударь, ударь, ударь!
 Ударь!

— Нет, не ударю.

Мучитель, да, — но не вполне
подобен
тела сюзерену, государю.

Поскольку тело — я; но тоже — зверь,
а им не покомандуешь,
 не потиранишь...

Вот медитируешь о вечном,
 а враз — и в тело вреж-
и, напорвшись, себя же протаранишь.

Нет, мясо, ты — не я,
 но ты — моя же мразь:
как мерзко духу знать, что тело — гадит...
А — умирать? А вот еще маразм:
в кусты гипотенузу тянет катет.

Так: тянет или катит?

Что за гилы!

Откуда этот вычур интеллекта?

У кучера ли свихнуты мозги,
конь спятил,

или с пят сошла телега?

Кто спит? — Никто. Но раз

пролившись вниз,

в прах, — дух кипит бродильной грязью
и пьяной окисью;

и это — жизнь,

и — крах,

когда погрязнуть угораздит...

А в том и дело, чтоб

одухотворить коснеющее тело

с тем, что когда его загонят

в гвоздеватый гроб,

оно бы чуть светлее тлело...

Ты, тело, — все же я, но мы не заодно.

Зачем я горнего взыскую,

когда ты похотью и страхом сведено,

и тухнет пыл моей молитвы —

вскую?

Ты рвешься с привязи,

ты лязгаешь, рычишь,

болеешь блажью, жаром, голодом,

чумою, чирьями и выпаденьем грыж...

А если в здравии —

так дышит дух на ладан!

Но до того, как: «ложись и умирай»,

где место для

мускулистого скелета?

Конечно же, ни — Ад, ни — Рай...

А вот оно —

зверинец, клетка!

18. ЗАКЛЯТИЕ ЗВЕРЕЙ

Никшни (понижни и заткнись)!

Тварь, зверь, к ноге.

Знай место.

Чур, вычур, перечур...

И — через низ.

Не смей казать оскал и ерзать мерзко.

Не то: во мне возгневится Адам,
и — вот я вас — в ничто разыменую;
слога по буквам, слово по слогам,
и — в паузу, (зия-),
и — в яму земляную.

Всех вышвырну, не то, что Ной,
в раствор потопа, в прорву — из ковчега;
обратно — в минерал и перегной,
в провалы звездопустного кочевья, —

изыдите! И ты исчезни прочь,
дух, Богом испражненный...
Отзынь и спинь, мясная порчь,
отрежь себя ножом, отскочь пружиной.

И место пораженное прижги.
И память вытрави, изгладь рубцы и шрамы.
Уймись, уды, глотки и мозги,
и когти, и клыки, и срамы!

Забудь, и брысь, и даже не пытайсь!..
Лев, с агнцем обоймись,
(волк, не юродствуй),
Мессопотамия кисельная, питай,
струись медово и доись в дородстве.

Дойди, во днях и детях, напопят,
в былое из грядущего, играя
клубками уютных медвежат
с дитятами козельими, до Рая,

где время кверху бьет —
и брызжет с круч
слезами вечности.
Живым подобьем слепка
с Божественного лика.

Небо — ключ.
Земля — замок. Се слово крепко.

ОБ АВТОРЕ И ЕГО СТИХАХ

Из Энциклопедического словаря Вольфганга Казака «Лексикон русской литературы XX века», М., изд. «Книга», 1991 г.:

«Бобышев, Дмитрий Васильевич, поэт (11.04.1936 Мариуполь). Б. вырос в Ленинграде, где во время блокады умер его отец и где после войны его усыновил человек, ставший его отчимом. В 1959 Б. окончил Ленинградский технолог. ин-т с дипломом инженера и работал по специальности (химическое оборудование). С конца 60-х гг. семь лет работал редактором в техническом отделе Ленинградского телевидения. Первые стихи Б. пишет в середине 50-х гг., первая публикация состоялась в самиздатском журн. «Синтаксис» в 1959—60 (перепечатка в журн. «Грани», № 58, 1965). В конце 60-х гг. несколько стихотворений Б. было опубликовано в сов. периодике (журн. «Юность» и ленинградские альманахи); с 70-х гг. стихи Б. печатаются только на Западе. Некоторые состояния, пережитые им как трансцендентные, приводят Б. в 1972 к русскому православию. В конце 1979, в год, когда в Париже вышла его первая книга стихов «Зияния» (1979), Б. смог выехать в США. В 1983 принял американское гражданство. До 1985 он совмещал инженерную работу со своим поэтическим призванием. С тех пор он преподает русскую лит. в Иллинойском ун-те, публикует наряду с стихотворениями лит.-критические и литературоведческие статьи. Второй сборник стихов «Русские терцины и другие стихотворения», законченный 1986, до 1990 не вышел, третий «Звери св. Антония», богато иллюстрированный художником-издателем М. Шемякиным, выпущен в 1989. В этом же году Б. смог посетить Ленинград. Благодаря перестройке его стихи публикуются на родине. Б. живет в г. Урбана-

Шампэйн. Самым значительным событием, непосредственно утвердившим Б. как русского поэта, была встреча с Анной Ахматовой в 1960 (она посвятила Б. стихотворение «Пятая роза»). Существенным своим литературно-духовным источником Б. считает стихи Рильке. В стихах Б. речь идет о духовных переживаниях, видениях, о духовном опыте. Это поэзия философского поиска, поиска смысла и красоты, Божественного в земном, поэзия, которая для постижения материального всегда привлекает черты иного мира. Рядом с общепhilosophическими стихами встречаются у Б. стихи о поэзии и любовная лирика. Б. обрабатывает свои стихи только в начальной фазе, по вдохновению; позже он собирает их в цикл. «Русские терцины» (1982) — сочинение в 90 строф, написанное в 1977—81, показывает Б. в духовном споре с советской действительностью, русской историей и эмиграцией. Стихи Б. богаты образами и ассоциациями; поиску смысла соответствует сознательная необычность в выборе или изобретении слов, а также увлечение подобно звучащими, поясняющими друг друга словами.

Соч.: Траурные октавы, сб.: «Памяти Анны Ахматовой», Paris, 1975; Стихи, ж. «Континент», Paris, № 12, 1977; № 36, 1983; № 45, 1985; № 52, 1987; № 55, 1988; Зияния, Paris, 1979; Интервью: «Русская мысль», Paris, 1981, 10.9. и ж. «Стрелец» 1987, № 7; «Русские терцины», ж. «Континент», № 31, 1982; «Звери св. Антония», NY, 1989; Стих, т. «Звезда», 1989, № 6. «Речь-ворожея», стихи ж. «Знамя», 1990, № 10.

Лит.: Н. Горбаневская, ж. «Континент», № 22, 1980; К. Сапгир, «Русская мысль», 1980, 6.3.; Ю. Иваск, там же, 1980, 25.9. и ж. «Вестник РХД», Paris, № 134, 1981; С. Юрьев, «Русская мысль», 1982, 9.9. и 1986, 15.8; D. Hastad, в кн. «En Elit Far Vasterut», Stockholm, 1983; B. Heldt, ж. «World Literature Today», 1984».

* * *

У меня сохранилась копия моей рецензии на рукопись Поэта Дмитрия Бобышева. Рецензия — внутренняя, она была написана для издательства «Советский писатель» в 1967 году. Там есть такие строки: «Я убедился, что в лице автора рукописи мы имеем дело с настоящим поэтом, у которого своя точка зрения на мир и своя манера для выражения этой точки зрения. Особенно приятно поразило меня в стихах Бобышева его чутье русского языка, его отношение к слову не только как к кирпичику для построения стиха, но как к категории, имеющей самостоятельную ценность. Бобышев чувствует вкус и вес слова, — качество, необходимое для поэта, но не столь уж часто встречающееся.»

С той поры миновало почти четверть века. За это время Бобышев стал профессиональным поэтом, и стихи его не только не утратили тех ценных своих свойств, о которых я упомянул в 1967 году, но стали сильнее, убедительнее; творческая индивидуальность выявилась отчетливее. Наступила творческая зрелость. Зрелость, — но, к счастью, не перезрелость; творческие поиски поэта — продолжаются. Он не стоит на месте.

А еще хочу сказать, что хоть у Бобышева давно уже — иностранная прописка, но в душе он не иностранец. Он — питерец, он русский. «Ах ты песня, песня русская, выручает от заморской тоски», — говорит он в своем стихотворении «По живому» (1983 г.). И еще:

Я ведь русский, брательники, русский я!
И куда же меня занесло?
Карта Мира, вселенская, хрусткая.
Нулевое мне кажет число...

В. Шефнер

* * *

Дмитрий Бобышев начал публиковать свои стихи в 1964 году. Первые подборки появились в «Юности», «Дне поэзии» (64, 67 годы), «Молодом Ленинграде», снова в «Дне поэзии», журнале «Аврора»...

Стихи его сразу стали любимы всеми, кому дорога поэзия, одновременно метафорическая и богатая смыслом. Интонация его поэтической речи была необычна. В стихах Бобышева речь идет о его духовных переживаниях, о его духовном опыте. Это поэзия философского поиска — поиска смысла и красоты.

Так из гнезда литературного объединения в Горном институте, общего для Бродского, Рейна, Наймана — вылетел и яркий, ни на кого не похожий поэт Дмитрий Бобышев.

Впоследствии циклы его стихов печатались в изданиях французских, американских, немецких. Стихи доходили до нас, мы читали их с волнением и благодарностью. Они были по-прежнему очень русскими, ленинградскими, где бы ни публиковались.

Во Франции издана книга его стихов, «Зияния», по которой можно понять творческий путь Бобышева тех лет. Там же, во Франции был опубликован цикл стихов «Траурные октавы» памяти Ахматовой. В свое время Анна Ахматова посвятила Бобышеву стихотворение «Пятая роза». Она с сердечным интересом относилась к работе поэта.

В последние годы советские журналы заново, щедро предоставляют свои страницы поэзии Бобышева. Значительные подборки его стихов появились в альманахе «Петрополь», в журналах «Знамя», «Звезда».

Стихи его — серьезный, обаятельный вклад в русскую поэзию нашего времени.

А. Володин

СОДЕРЖАНИЕ

I.

Виды	3
«Крылатый лев...»	5
Голубка	6
Попытка тишины	8
«До чего же она неказистая...»	10
«Тебя, тоскуя...»	11
СПБ	12
Ксения Петербуржская	14

II.

Возможности	16
В небесной мастерской	18
Низкое место	19
Троица	20
Когда идет гроза	21
Вечная весна	22
Отвратясь	23
«В руках у сплавщика...»	24
Утро вечером	25
Забывшему свет	26
Любой предлог (Венера в луже)	27
«Как топор без топорища...»	28
Строки	29

III.

Сонет	30
Слова	31
«Строка — совсем дитя...»	32
Грифельная ода	33
Что-то лепечет	34
Спрявленные пути	35
Перо и кисть	36
«Бортнянский...»	38

IV.

Дни	39
Несравненной	40
«Моя свобода...»	41
«В сердечный переплет...»	42
Мадригал	43
Еще более, чем раньше	44
Портрет	45
Цветы	46
Мгновения	48
Обнаженная	52

V.

Небесное в земном (почти молчание)	54
----------------------------------------------	----

VI.

Из глубины	73
«В груди гудит...»	76
Медитации	78

VII.

Звезды и полосы	82
1. Полоса озерная	—
2. Тот свет...	—
3. Звезда	83
4. Большое Яблоко	84
5. Индейское море	85
6. У пожирателей лотоса	86
7. Лесная полу-полоса	88
8. Полнота всего	—
9. Милые Оки	89
10. Полоса пустая	90

VIII.

Отель	91
Жизнь Урбанская	94
Троцкий в Мексике	99
Возврат	100
Светла...	102
Реки	103
Города	105
Холмы иные	108

IX.

Три ноктюрна	110
1. Ночь Иллинойская	—

2. Затмение	11
3. Комета	11

X.

Звери св. Антония (бестиарий)	114
1. Испытание творчеством	—
2. Пантера	115
3. Рыбы	116
4. Змеи	117
5. Слоны	118
6. Муравьи/Термиты	120
7. Единорог	121
8. Пожирание мамонта	122
9. Ночные бабочки	—
10. Метафизический зверь	124
11. Обезьяны	125
12. Грифоны и гибриды	127
13. Павлин	128
14. Павлин белый	129
15. Феникс	130
16. Свинья	131
17. Собственное тело	133
18. Заклятие зверей	134
Об авторе и его стихах:	136

Вольфганг Казак, Вадим Шефнер, Александр Во-
лодин

Редактор Высоцкий К. Ю.
Тех. редактор Николаева Н. Н.
Корректор Смирнова Л. А.
Художник Николаев А. Н.

Сдано в набор 16.01.92. Подписано в печать 26.05.92.
Формат $70 \times 90^{1/32}$. Печать высокая. Тираж 3500 экз.
Заказ № 39. Объем 4,5 печ. л. Цена договорная.

ПО-3. 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 55.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Литераторы России
и русского зарубежья!

Издательско-коммерческая фирма «Водолей» будет рада опубликовать Ваши рукописи в Санкт-Петербурге на взаимовыгодных условиях.

Обращайтесь к нам по адресу:
189630, г. Санкт-Петербург,
Колпино, ул. Тверская, 62.
Тел.: 463-86-13, 484-81-61.

